

Я ТОЖЕ ИЗ МИХМА

(Путь Лоботряса)

МИХМ. Московский институт химического машиностроения... Жизнь повернулась так, что теперь он всецело принадлежит только истории. И разумеется биографам.

Например, есть книга воспоминаний Н.И. Басова. Она названа просто и без претензий «Жизнь моя МИХМ». Собственно говоря, более точного названия она и не заслуживает. Восьмой ректор института химического машиностроения возглавлял его значительно дольше, чем любой из его предшественников или преемников. И рассказать, конечно же, мог многое. Мог, но не захотел! Не пошел дальше развернутого торжественного доклада о текущих успехах и достижениях. Всё прочее осталось «за кадром». В том числе и рядовой студент, которых в отличие от десяти ректоров вышло из института инженерами не один десяток тысяч. И в воспоминаниях одного из этих десятков тысяч хотелось сохранить то, чего нет, и не может быть в воспоминаниях ректора.

Оглавление

Раздел 1. Приобщение к высшему	3
Часть 1. По общежитиям МИХМа	3
Часть 2. Группа	9
Раздел 2. Третий – трудовой	15
Введение. Слово о стройотрядах и стройотрядниках	15
Часть 1. Труд	15
Часть 2. Быт	23
Часть 3. Развлечение	28
Часть 4. Деньги	37
Раздел 3. От сессии до сессии	41
Раздел 4. Суровая Кинешма	46
Раздел 5. Поля и сады Соколовские	51
Раздел 6. Синенький скромный дипломчик	61
Раздел 7. В МИХМе после МИХМа	67
Введение. Три жизни	67
Часть 1. Творцы и созидатели	67
Часть 2. Грустная улыбка Урании	74
Часть 3. Падение Икара	77
ВМЕСТО ПРИЛОЖЕНИЯ	83
Наша группа	83
Наша зачетка	83
(выброшенная глава) Черная строчка	86

Раздел 1. Приобщение к высшему

Часть 1 По общежитиям МИХМа.

Об «общаге» - жизни в студенческом общежитии я мечтал еще старшеклассником. Не об неведомом институте и не малопонятном, но загадочном высшем образовании, а именно о том, что буду жить сам по себе, независимо от надоевших родителей, совсем взрослым. Меня тогда манили не веселые компании, о которых я, человек домашний, и понятия не имел, и не возможность, скажем так, найти девчонку. Всё это конечно было, но очень глубоко, в томительном подсознании. А сверху, на главном месте красовалась Независимость! Никто мне не будет больше указывать, что делать, чего не делать, когда, по чём и во сколько. Сладкая благоухающая мечта!

Москва, сама по себе, в особую новинку не была. Располагалась под боком, и дорожка в нее давно протоптана: билетик, электричка, час с небольшим, и вот он – Курский вокзал. Правда, в первый раз - сами! Действительно сами и совсем сами. Родители, как я сейчас понимаю, не питали на поступление особых иллюзий, отпустили порезвиться, потешиться самостоятельностью.

Я ехал тюха-тюхой, а вот дружок мой – Витька уже все разведal. Побывал в некоем «МИХМе» и решил, что он ему подходит. Мне же тот же адрес указали через материных знакомых из Ногинской Санэпидстанции. В один вечер выяснилось, что у меня с дружком намечен общий маршрут. Значит всё отлично, повезем документы завтра же, на пару.

Но Витька знал гораздо больше. Можно не только подать заявление, но и оформиться на курсы, месяц до экзамена подучиться и на это время взять общежитие. Во как сразу! Разумеется, мы так и сделали, я был только «за». И дрожь пробирала: а сдадим ли еще экзамены, и манило совсем уж невероятное: не студент пока, а сможешь жить в общежитии.

Оформили нас в разноликую очередь, но быстро. По накатанному пути. Ничего не спрашивали, сами везде указывали, куда потом и куда дальше. Ну, прямо приняли с распростертыми объятиями! Поехали. Нашли и «Сокол», и Головановский переулок. Тетка, которой мы торжественно предъявили наши, только что выписанные «документы», повздыхала, попытала, поворчала. Это удивило, мы считали, что всё уже на мази. Но нет. Провела, указала комнату на первом этаже.

В комнате был весьма впечатляющий завал, чего только не наставлено, не навалено, не накидано. Но нам очень понравилось. Как здорово! Сейчас мы все это быстренько приведем в надлежащий вид. И будем жить. Приходить, открывать ключом дверь. Со вкусом собирать на стол, ужинать, ложиться на свою, именно свою – не папе-с-мамину, кровать, с утра вставать и, уходя, запирать на замок. Здесь живем мы! Студенты. Как-то отошло, что еще надо сдать вступительные. Тем более, днем мы уже побывали на первых из подготовительных занятий, и чувствовали себя хорошо подготовленными. Всё, что нам сегодня преподали, мы давным-давно знали.

Уборка заняла часа два. Но комната совершенно преобразилась. Мы даже полы протерли и стекла на окнах. Заглянула давешняя тетка (комендант или кто, не знаю), покивала головой, предупредила, что карнизы и занавески нам на фиг не нужны, не девки, мол. Размякший от удачного дня, Витька сказал ей, что как бы хорошо нам здесь и остаться. Она лениво помотала головой, бросила привычно: «Только четвертый и пятый курс». Витька пожал плечами, но, сохраняя вежливый тон, всё-таки добавил: «Хорошее у вас общежитие».

«Да уж хорошее, всё зас ..али!» - слегка сморщилась тетка и прикрыла дверь.

Мы переглянулись. Действительно: и полы расползлись, и комнатка какая-то приземистая, а окно вообще убогое. Но все равно ничего. В общем и целом не так уж и плохо. Но не все еще унылые вести добрались до нашей вновь обретенной комнаты!

Снова отворилась дверь.... Вошел спокойный парень, чуть постарше нас. Сказал «привет». И не спеша стал располагаться, как у себя дома. Пристроил пиджак, портфель, вытащил из него какой-то сверток, положил на стол. Буднично спросил: «А вы откуда, ребята?»

Мы поняли, что это наш сосед, и жить мы будем втроем. Постепенно завязался неторопливый, ленивый неинтересный разговор. Сидеть, закрывшись в комнате, уже не хотелось. Все трое мы выбрались во двор, приткнулись на скамеечке. Вечерело. Где-то в стороне проходили по своим делам люди. Совсем рядом, у натянутой волейбольной сетки носились совершенно взрослые парни в спортивных костюмах. Они прыгали, лупили по мячу, громко выдыхали с хохотом и довольно улыбались. Больше половины из них было чернокожих негров. Но даже такая небывалая экзотика не развлекала. Какие же они довольные – эти волейболисты. У них уж точно всё в порядке!

Наш новый сосед томился не меньше нас. (Имени его я так и не узнал, а фамилию свою он упомянул скороговоркой в каком-то пересказе эпизода из своей жизни, и больше не повторял). Потом лениво намекнул, что неплохо бы сейчас, для настроения... Намек не встретил особого сочувствия и очень скоро мы пошли устраиваться на ночь, так как, к тому же, заморосил дождь.

С утра мы тихонько вдвоем поднялись и, говоря шепотом, на цыпочках выбрались из комнаты. В ней не осталось уже ничего привлекательного. В путь, на метро, до самой станции «Курская». И здесь наши пути разошлись. Витька потопал на курсы, а я, как только увидел вокзал, обрадовался ему, как дому родному. Скорее на электричку и к мамочке! Под родное крылышко.

На курсы я больше не ездил, в общежитие тоже. Родители молча переварили напрасно выложенные шесть рублей, хоть это для них была совсем не маленькая сумма. Но все-таки в этом, самом престижном по тому времени, общежитии «Сокол» мне пришлось побывать еще два раза.

Первый раз через неделю. Мы оставили, кажется, там в залоге паспорта за какое-то имущество. Приехали, как и прежде, в паре с Витькой. Наш сосед сидел, обложившись учебниками математики и, как мне почудилось, обрадовался. Задал какой-то вопрос по тригонометрическому уравнению. Витька взял ручку, быстро расписал в тетрадке, как это делается. Парень из Донбасса тут же подкинул нам другие примерчики. Торопясь, мы их поделили между собой, и каждый на своем листе накатал общий ход решений. Сосед погрузтел, несмотря на то, что оставался жить в комнате полным хозяином. Но мы только пожали плечами и откланялись. Больше я с ним не встречался.

А второй раз состоялся гораздо-гораздо позже. Приезжал я с главным инженером МГУИЭ (так называли теперь МИХМ), и в качестве главного механика того же МГУИЭ по вопросам канализации и отопления. Хоть общежитие и прежде никогда не выглядело праздничным и парадным, но теперь его было трудно узнать. Оно испытало все прелести приватизации и аренды.

Как, впрочем, и весь институт. Характерным исключением был корпус А, который на тот момент принадлежал банку. Но остальные выглядели очень жалко. Мину приличия соблюдали лаборатории и кафедры, хоть и они казались постройками *замка спящей принцессы*. Тихие, темные, безлюдные – такие, какими замерли лет восемь назад. И только бледными тенями двигались уцелевшие преподаватели. Эти были всё те же, что и в годы нашего ученичества, так что напоминали блуждающие верстовые столбики, вдоль неумолимой дороги времени. Единственный раз мне удалось войти в исследовательскую лабораторию кафедры Процессов, которую я запомнил всю в шуме, звоне металла, сверкании разноцветных лампочек, резких запахах, переключках молодых оживленных голосов, трезвоне телефонов. Теперь я обошел все восемь отсеков и в единственном углу наткнулся на аспиранта, тихонько пилившего дюралевый уголок...

Мне, видевшему за эти прошедшие восемь лет, как на пустом месте вырастают до небес, а потом в одночасье рухают целые фирмы с миллиардными (по тем деньгам) оборотами, было дико застать в неприкосновенности всё те же лица. Я-то думал, что не встречу и памяти о них, и не столкнусь ни с одним знакомым!

В отличие от тихих кафедр все хозяйственные помещения и территории выглядели, как республика Советов после Гражданской войны. Мрак и безлюдие, ржавчина, а порой сырость с плесенью, и всё, что только можно, завалено хламом выше человеческого роста, а на открытых площадках через металл пробивается двухметровый бурьян. Такая же поросль, но помельче и погуще, по трещинам потемневших стен. Изъеденные трубы, концы оборванных кабелей, разбитые розетки и выключатели, лишь кое-где уцелевшие лампочки. Казалось, что прошло не меньше пятидесяти лет, либо пронеслась дикая орда, а выжившее население скопил мор и голод.

И вот теперь Михайлов, Мучкин и Бредихин прилагали судорожные усилия, чтобы кровооборот в МИХМовских зданиях не замер навсегда, и по мере своих слабых возможностей разгребали завалы. Год я участвовал в этом неблагодарном труде. Потом, как и в середине восьмидесятых, снова пришлось закрыть институтскую дверь навсегда. Снова идти на производства, строить цеха, тянуть трубопроводы и кабели, запускать подстанции и котельные. Этим я занимаюсь и по сей день....

Хотя, прошу прощения, я вспоминаю не о себе, и даже не об институте, а просто об его общежитиях. Сокол, как верно нас просветила комендантша, не допускал до себя студентов младших курсов. Смирлял он свою серо-крылую скромную гордость исключительно для иностранцев. Или к ним приравненных, так как жизнь без исключений не бывает.

Где же мыкались первокурсники, особенно те, кто указал в заявлении, что в общежитии не нуждается? Частично могу судить на примере нашей группы. Игорь Родохлеб жил в Балашихе у двоюродной сестры. Серега Усенко сумел договориться с родителями Коли Александрова и пока обитал у него. Затем перебрался к тетке, которую называл Софи. Уся вообще тяготел к вычурным именам. Александрова он называл Микола, Синявскую – Ирэн, своего друга Ивана - Вано и т.п.

Не могу сказать, где обосновались Рая Зубцова или Наташа Чужинова, но Татьяна Болденкова ездила по первому времени на метро до станции «Библиотека Ленина» и дальше на юго-запад, а потом они вдвоем с Лариской Серегиной катались в Бирюлёво. Вопрос с общагой порой приобретал гнусную черную окраску. Наталья Дабижа, от которой деканат требовал выписаться со своего местожительства, была вынуждена бросить учебу. А ведь нужды не было, ей же не предоставляли при этом никакого общежития. Я лишь помню, что она снимала жилье в месте, до которого нужно было довольно долго добираться электричкой. И ведь училась она неплохо. Графика же на черчении была такая, что придира Рязанский подписывал ее

чертежи не глядя. А Пучев – нудный Милимитер, только поводил глазами и цокал языком. А вот не пощадили, не вошли в положение, выперли девчонку. Говорили, что потом она стала художницей.

На фоне таких проблем, неурядицы всех нас, выходцев из райцентров вокруг столицы, выглядели детскими обидами. Те нуждались в общежитии, а мы только хотели его иметь. Но, тем не менее, на первых порах все пытались обосноваться в каком-то непременно московском жилье. Я квартировал у тетки на самом юге мегаполиса. Дальше только лес и Кольцевая. Потом ко мне присоединился и Виктор и, пока тетя нас терпела, мы жили вместе. Хотя ездить было не ближе, чем до родного дома. А, поди же ты, в Москве! Только постепенно мы осознали, что куда проще – на электричку и на обжитое, пригретое место. К пяти доехал, по дороге еще и выспался, и никаких забот.

Виктор, правда, не смирился. На следующих курсах он из принципа добился общаги. Сначала Клязьма, затем (забегая вперед) Измайлово. Ночевал он вообще-то в них только под давлением необоримых обстоятельств, когда домой ехать было поздно или крайне нежелательно. Но такова уж была у него натура: положено – отдай!

Помню, похвалился он нам в электричке, что дали ему место в Измайлово. Девчонки-однокурсницы из параллельной группы не поверили. Он в доказательство рассказал к кому ходил и с кем договаривался. – «Это всё ерунда! – запальчиво возразила Вера Рослякова. – Ты получи задаром подпись Огладзе».

Витя молча выудил из кармана пропуск и раскрыл, Верка ахнула. Ну и жук! Так что, жилал он немного и в новом общежитии. Ему же принадлежит великолепный фотоснимок. Здание общежития на фоне черноты глубокой ночи. Время полночь, в прилежащих домах ни огонька, а в МИХМовской общаге, как на военном параде, светятся окна во всех этажах. Не успел, либо еще не догадался Гуркин ввести комендантский час.

Кстати, при всей нашей дружеской откровенности, Витька на зверства Гуркина никогда не жаловался. Правда, натура у него была такова, что он мог плевать на всех Гуркиных, которые только найдутся на свете, и даже не считать это каким-то подвигом. Но, справедливости ради, это всегда легко, когда есть, куда отступить. Не то, что другим бедным студентикам, со всех концов нашей необъятной Родины. Им терять общагу было равносильно смерти.

Вернусь к нашей группе, уже одолевшей первый курс. Теперь все, кто на самом деле нуждался в общежитии, были пристроены. На Клязьме, или на частном секторе. О Клязьме у меня воспоминания предельно смутные, мало что в тот единственный раз сумел разобрать. Что-то сумрачное, ободранное, темное, холодное. С чужих слов помню, что Виктора и его соседей по комнате – Тимофеева, Ванштейна и кого-то еще, одолели мыши. Эти противные, но несчастные грызуны по необходимости разделяли все тяготы студенческого быта. Когда Витька однажды привез мышеловку и зарядил большим куском сала, она сработала минут через пять после выключения света. Вскочили, посмотрели. В мышеловку попались три мыши одновременно. Так они стосковались по жирному и калорийному.

Зато домик в Краскове, где обитали Серега Усенко, Игорь Родохлеб и Юрка Миронов, я запомнил отлично. Как и хозяина их, Фаддея Ульяновича, от имени которого мы по телефону вводили в заблуждение бдительных матерей некоторых наших одноклассников.

В Краскове процветало гостеприимство. Гости съезжались к радушным хозяевам в одиночку и компаниями; с посильным угощением и пустыми руками. Когда устраивались на ночлег – сдирали с узких кроватей матрасы и застилали пол. Добавляли какие-то половики. В принципе, в матрасов пять в той комнатенке можно было укрыть весь пол до самого окна. Как там умещалось по десять ночлежников и больше – великая тайна Краскова.

Итак, щитовой домик с садиком, поскрипывающая дощатая лестница на второй этаж, резкий поворот, и вот она – узкая комнатенка. Мы вваливаемся, дружно топая, все принесенное выставляем на пол прямо у порога. В комнате один Уся, он не ходил сегодня на занятия. Когда мы вошли, Серега даже не поднял головы. Сидит, скрестя ноги, на какой-то скамеечке, а перед ним, на раскладушке, поверх суконного одеяла – выложенная партия. Ван подошел, встал за спиной у Сереги. Тот медленно повернул голову:

--А что если: шесть без шести?!

Ван какое-то время разглядывал карты, молчал, потом лениво возразил:

--А на фига!

--Нет-нет, по-моему можно, - засуетился Уся.

--И сколько ты с этого возьмешь!? – презрительно уперся Ванштейн. – Бросай!

Уся смешал карты. Вывалили принесенный провиант: не хватало хлеба. Сергей Усенко, просидевший весь день над преферансными раскладами, обрадовался: сейчас сходим, скидывайтесь, что у кого. Родохлеб с Ваном вызвались составить ему компанию. Я остался в комнате, как бы за сторожа.

Они еще не вернулись из магазина, когда приехал Юрка Миронов. Узнал, что ужин ожидается обильный, оживился. Пока суд да дело, взял гитару. Еще с полчаса дожидались их под аккомпанемент фривольных песен и песенок. Наконец, слышим, топают по лестнице добытчики. Впереди сияющий Ван, продолжающий с хихиканьем какое-то бесконечное веселое обсуждение. Оказалось, обсчиталась

продавщица винного отдела, и они были рады, как от выигрыша в лотерею. Халява с неба! Немного прошло времени, и мысль: делать выигрышную лотерею своими руками, назойливо поселилась в Краскове.

Но пока проходил обычный вечер. Всё закрутилось в ударном темпе. Быстрее на стол, быстрее за стол. Некогда, некогда! Подгонял, конечно, и молодой волчий аппетит, а больше нетерпение. Перекусили и вперед, за игру. Разумеется, между собой, среди своих, играли символически, по маленькой. И, само собой, «без взаимных расчетов». Но это вовсе не значит, что без азарта! Хватало и крика, и угроз, и шутивого избиения подушкой. Дело затянулось настолько за полночь, что о полночи уже и думать забыли.

С утра скрипучий занудный голос Фаддея: «Игорь, ты еще спишь?». Игорек, самый дисциплинированный, со стоном поднялся. Вылезли из под своих одеял и мы с Юркой. Уся даже не пошевелился, а Ван сегодня составил ему компанию. Со второго курса нас, бывших органиков, развели на разные потоки. Шла реорганизация факультетов. Поэтому мы ехали на важный семинар, а у группы Вана первой парой намечалась «какая-то лажовая» лекция.

Примерно так выглядели, назовем для ясности, открытые званые ужины. А начались еще и закрытые, на которых мне бывать не приходилось. Ни в качестве «людоеда», ни в виде «блюда». На такие вечера съезжались только посвященные и особо приглашенные. Трудно судить со стороны, какое в эти дни бывало угощение, вернее всего – скудное, но игра шла крупная. Определился кружок лиц, которых Сима – Александр Симачёв – как-то обозвал «краскари».

Конечно, душой всей компании был общительный Уся. Он забросил увлечение бильярдом и игрой на скачках, почти прекратил отношения с Александровым и Вороновым, и с головой ушел в преферанс. Незаинтересованные партнеры быстро отсеялись, остались асы. Вот только Игорек входил в этот кружок краскарей поневоле, в силу своего проживания. И в игре, и в ловкости рук он сильно не дотягивал до установившегося стандарта, а потому чаще становился фигурой прикрытия. Его рассеянность, неподдельно честное лицо, служили отличной ширмой. Гости верили, что всё чисто и попадали на крючок. К компании примкнул «Грек» - Гордиенко, и очень скоро с пятого места переместился на второе, с большой претензией на первое.

Все реже в Краскове можно было бывать просто так, дела самочинной лотереи приняли нешуточные обороты. И так как особо приглашенные вербовались из МИХМовской среды, дело не могло не кончиться большим скандалом. Так и произошло почти в самом конце второго семестра. И мало кому удалось выйти из Красковской ярмарки талантов без потерь.

Но все случилось не в один миг, и даже не в один месяц. А тем временем с проживанием в Краскове было благополучно покончено, наших ребят ждало новое общежитие. Стромынка – легендарная «СтрОмынь».

По сравнению с Красковской избушкой, Стромынка скорее напоминала целый город с великолепной просторной центральной улицей, по которой можно было очень долго идти, обходя по очереди все корпуса. Даже язык не поворачивался назвать ее просто коридором. Гораздо больше ей подходило слово «проспект».

Этот проспект не пустовал ни днем, ни ночью. По нему гуляли, ходили друг к другу в гости, стояли у стенок и тихо беседовали, громко окликая проходящих. И не мудрено, поскольку в комнатах жили по семь человек и более. наших красковцев подселили к трем старожилам, к Сереге Поливанову, тому же Симе и Вите Каплану. Сюда же въехал и Ван, сбежав из соседства с трезвым и положительным Тимофеичем.

На Стромынке состоялись проводы Уси, досрочно и навсегда отбывающего в свой родной Иркутск. Этот человек, по сути, был душой нашей институтской группы. Говорили про него разное, но каждый или каждая всё равно испытывали непобедимую симпатию. Пожалуй, он был единственный, кто мог бы сомкнуть нашу группу в единое, дружное целое, чего, увы, так и не произошло.

Но как бы не симпатизировали Сереже Усенко девчата, парни жалели о предстоящей разлуке гораздо больше. Его проводы состоялись в суровой мужской компании. Собралось во вместительной, но до предела заставленной общажной комнате по меньшей мере человек двадцать. Конечно звенели стаканы, неслись здравицы. Недружно выкрикивались пожелания, проскакивали сквозь галдеж шутки. Время между тем подходило, Уся сидел уже с билетом в кармане.

И вот он поднялся – пора. Дружно загомонили, повставав с мест, все. Вдруг, в самый-самый прощальный, нескладный, но сердечный момент Жумаханов в полный голос пропел первые строчки «Интернационала». Этот гимн более-менее знали все, если даже и никогда не приходилось петь. Дружный рев голосов подхватил: «Весь мир голодных и рабов». Торжественный мотив поднял головы, распрямил плечи. Хор подстраивающихся друг под друга и наконец выровнявшихся голосов довел партийный гимн до конца. Все были довольны, получилось что-то небывалое. Так единодушно не провожали и Леонида Ильича. Но если разобраться, что еще можно было пропеть напоследок и всем вместе? Не «Катюшу» же или «В лесу родилась елочка». Разве что какие-нибудь хеппи бёзди...

На Стромынке нам, залетным, в том числе и мне, приходилось ночевать часто. Начались овощные базы, пищекомбинаты, а там подоспела и практика на заводе Ухтомского. Опять же Стромынка – не Красково, здесь можно было встретить много институтских знакомых сразу, в том числе половину нашей

группы. А где много знакомых, там не меньше причин для встреч в праздничной обстановке, самые бесспорные из которых дни рождения.

Игорек Родохлеб был настолько очарован жизнью на Стромынке, что однажды воскликнул: «Ты не понимаешь, что такое общежитие. Здесь тебя напоят, накормят и спать уложат. Да еще с утра похмелиться дадут!» «Если останется», - ехидно продолжил Ван. Эту хвалу общежитию я проверил на практике, но совсем при других обстоятельствах.

Был уже четвертый курс, у меня горел курсовой проект по «Процессам и аппаратам». Точнее, его просто не было: первый лист в тонких линиях и коротенькие наброски записки. А наступил уже канун Девятого мая. Правда, праздник примыкал к двум выходным, и будь у меня хотя бы один учебник, можно было попробовать все нагнать. Но я по своей бестолковости сидел без всяких учебников аж с первого курса.

«Не занимайся ерундой, поехали в общагу», - сказал мне Игорь. Сам он торчал с курсовым не хуже моего. Всё прикинув, я решил, что это шанс. И действительно, в чертежной комнате, как и по всей Стромынке было по каникулярному пусто и тихо. Мы расположились на просторе, и пока я, не вникая, обводил первый лист, накиданный когда-то по горячим следам первой и единственной консультации, Игорек приволок ворох материала, собранного по комнатам накануне. Здесь были учебники, методички, какие-то драные синьки, недочерченные кем-то листы таких же проектов. Целая гора сокровищ!

Сам Родохлеб взялся за второй лист. Я, чтобы не рвать друг у друга материалы, принялся за самый простой – третий. Весь день мы честно трудились. Когда укладывались спать, я удовлетворенно запихал в тубус два готовых листа и бросил на стол начатую монтажную схему. С утра мы собирались засесть за проект, постараться добить его до вечера, чтобы в оставшийся третий день все-таки отпраздновать День Победы.

Но едва погасили свет, приоткрылась дверь и в комнату скользнула легкая, тоненькая подвижная тень. Быстрый шепоток в темноте, и из комнаты выскользнули уже двое. Дверь закрылась, можно было спокойно спать...

Проснулся я спозаранку, родохлебовская кровать была еще пуста. Одному идти в чертежную и все тащить, было неохота, тем более, что здесь в комнате между кроватей приткнулась настоящая чертежная доска. Короче, всё, что нужно. Игорь появился часов в десять и с блаженной заспанной улыбочкой завалился под одеяло. И проснулся он, когда я скатывал еще два готовых листа, уже собираясь домой. Завтрашнее празднование Победы по всему откладывалось, не было смысла торчать в общаге еще день. За окном стемнело, но еще можно было поспеть на одну из последних электричек.

Игорек стал лепетать какие-то извинения, ссылаясь на то, что я и сам всё понимаю. Не очень настойчиво предлагал остаться еще на денек. Пришлось ответить, что ему завтра еще пахать и пахать, будет не до праздника. Не знаю, как он, а я уже был доволен по самые уши. Общага полностью оправдала мои надежды.

Зато Соломон Элиевич Ляндрес не выразил почему-то никакого удовлетворения, что я явился к нему в срок с готовым проектом. И предложил эквивалентный выбор. Сейчас он поглядит и подпишет только один лист. А потом я буду приходить по расписанию консультаций с каждым очередным листом, а там и с запиской. То есть как раз до конца сессии. И это в лучшем случае.

Либо я могу идти на защиту хоть сегодня с неподписанными листами. Разумеется, я не думал ни секунды. Зря что ли, пока все порядочные люди праздновали, два дня простоял не разгибаясь, по восемнадцать часов над листами. Ляндрес не поленился, поднялся из-за стола и вышел из учебной лаборатории. Откуда-то сверху спустился Балдин, привередливый Борис Германович. Он быстро разыскал на моей технологичке тройку непроставленных вентиляй. Напрасно тыкал я пальцем в монтажку, на которой эти вентиля уже были. Он многозначительно промычал, что до монтажки еще дойдем. К моему счастью, именно технологическая схема была подписана Ляндресом. Балдин пошел дальше, начал методично шлепать вопросы. Я отвечал, цепляясь или за фрагменты усвоенных к тому времени сведений по предмету, или за здравый смысл, либо интуитивно, ориентируясь на интонацию Балдина. Наконец дошло до вопроса, на который я не сумел ответить. Балдин хмуро остановился. И изрек: «Смотрите, коллега, в другой раз такое у вас не пройдет. Мы в этих случаях черкаем все листы и заставляем перечерчивать.... Сами понимаете, пятерки вам поставить - не могу».

Из-за доски вынырнул Ляндрес: «Сдал?», поскуцнел, подписал листы и молча отошел. Так что добротные материалы общаги меня великолепно выручили. А Игорек защитил свой курсовой только через неделю с хвостиком. Зато именно на пятерку! Он почему-то очень щепетильно относился к оценкам по проектам, а про экзаменационные отзывался презрительно. Меня же больше интересовала возможность поиметь повышенную стипендию (хоть и не пятьдесят рэ, но всё-таки сорок шесть).

Я описал довольно поздний случай посещения Стромынки, когда дорожка уже была проложена. А прокладывали мы ее туда после работы на овощебазе. Эта работа шла в две смены, допоздна, по необходимости требовался ночлег в Москве. Вопрос «где» решился сходу, и меня, и Виктора охотно пригласили одноклассники. Оставалось обеспечить пропитание. Но это же куда как просто, вот оно пропитание, под руками, точнее – под ногами. Картошка!

Правда, отправляя нас на базу, сам Глебов лично предупредил, чтобы никто не вздумал тащить что-либо через проходную. А то, мол, в прошлом году одну студентку с кочаном капусты в авоське милиция преследовала до самого метро «Преображенская». И догнали на мотоцикле у самой станции. Институту было очень стыдно! Что ж, если вспомнить, что продавалась тогда капуста по четыре копейки, а студентка вряд ли могла бежать от мотоцикла с полупудовым кочаном... Интересно, сколько сожгли бензина на тяжелом милицейском «Урале», доехав до метро, и затем привезя кочан капусты обратно на базу?

Но кража есть кража. Нехорошее дело. Поэтому никто не согласился тащить через проходную сетку картошки. Пришлось использовать другой способ. Витька метнул сетку через бетонный забор, а Серега подхватил ее уже на той стороне. И не прошло и часа, как не меньше пяти человек стояло на Стромынке, упершись взглядом в сковородку на плите. На ней, шипя хлопковым маслом, жарилась картошка. Подсолнечного достать не смогли, хоть обошли несколько комнат. Жарили, конечно, сколько вместила сковородка, и еще немного горкой. На всю ораву.

Я забыл упомянуть, что кроме забора овощной базы, на пути нашей картошки стоял еще один забор. Вход на Стромынку, как и в любое другое общежитие стерегли бдительные вахтеры. Рассказывали, правда, что иногда на вахте сидит дед, которому, ну буквально всё до фени. Мимо него и страус прошагает! Но мне почему-то даже одним глазком не довелось увидеть этого расхорошего деда. Когда бы я не приходил, на вахте восседала вредная бабка. Можно было обмануть и ее, если идти не одному, быстро, и мельком показать чужой пропуск. Впоследствии, ночуя в общежитии после вечерней смены на заводе Ухтомского, я так и делал. Но чтобы такой финт прошел, требовалось отработать еще один пункт, на котором и попадались новички. Входная дверь. Она была остекленная, тугая и открывалась не к себе, а от себя. Стоило кому-то ее задержать, вместо того, чтобы толкнуть, вахтерша сразу настораживалась: «чужой».

Потому-то, на первых порах, все эти трудности было проще обойти. Прямо от проходной, вдоль пешеходного тротуара тянулся железный заборище. Был он из толстенных прутьев и метра три высотой. А прямо за ним – тихий просторный двор, пешеходные дорожки и подальше – подковка жилых зданий. Забор никто никогда не охранял, это составляло, так сказать, чисто символическое препятствие. Перелезть его молодому двадцатилетнему парню – раз плюнуть. Главное – не обращать внимания на смешки прямо за спиной, по тротуару-то идут прохожие и остановка автобуса рядом.

Так мы и проникли на Стромынку в тот первый памятный вечер. Виктор, правда, неудачно изогнулся, и одна из штанин лопнула по шву. Но ерунда! Ван тут же заглянул к знакомым за ниткой и иголкой, и они там похихикали вместе, что заплачена очередная, но не последняя жертва забору. Зато потом чудесный вечер с жареной картошкой и соленой рыбой (добыча других жильцов комнаты). А по ночному времени страстная игра, и уже не в надменный преферанс, а в снисходительный покер. Подальше от искушения, подальше от этих коммерческих игр!

И наконец, все-таки Измайлово. То самое общежитие, в котором я не был ни разу. Но здесь я опять неточен. Приходилось мне в нем бывать, и, причем, целую неделю. Хотя объект этот еще не назывался: «Общежитие Измайлово». Была это недостроенная коробка, в которой шли работы по благоустройству десятого этажа. Может быть, на других тоже что-то шло, но мы трудились именно на десятом. Лазили наверх по заляпанной, замусоренной лестнице, принимали в окно раствор и носилками таскали в коридор на цементную стяжку. Коридор был (или казался) узеньким, комнаты – тесными, а высота, сквозь незастекленные окна – головокружительной.

Мы: Женя Якоби и я, работали в компании с ребятами из группы Димки Зыкова. Что делали девчонки, не помню, может быть сгребали из комнат строительный мусор. По всей видимости, мы были единственная студенческая бригада, потому что в другом конце коридора непрерывно маячила темная неподвижная фигура. Фуражка, военный плащ, сапоги. Несколько шагов по коридору в нашу сторону, разворот, и массивный силуэт слегка удаляется.

«Подполковник следит за вами!» - подначивает один из строителей. «А может быть за тобой?» - шутят женщины, его собригадницы. «Да мне-то что, я и сам полковник», - отвечает шутник, а лет ему – двадцать пять, не больше. За кем следит подполковник – неясно, поскольку не подходит и ничего не говорит. Может быть, крутится просто так: для порядка и дисциплины.

Мы уже привыкли, что и на овощной базе, и на картошке к нам приставляют военщиков. Почему же им не быть и на стройке? Никто ведь из нас еще не подозревает, какую стезю избрал себе Гуркин, и какая его поджидает на этом поприще слава. Но это всё потом. Прежде, чем превращать общагу в казарму, ее надо было достроить.

Единственный раз мы слышали громовой голос Гуркина, в тот день, когда на строительство прибыл представитель комитета – В.Э. Маслов, собственной персоной. Сейчас я даже удивляюсь, как спокойно и без обид мы с Женькой встретили Маслова в таком непривлекательном качестве. Всё равно в наших глазах он в первую очередь оставался Володькой, нашим соучеником и сотрапезником. А комитет комсомола – что ж, каждый старается, как может. Зато другая группа не была столь лояльна. Они осведомились у Маслова, как там поживает Миша Москвин, не хочет ли и он сюда приехать. Разговор шел в комнате, где мы ожидали, когда крановщик подаст очередную бадью с раствором. Маслов ответил что-то девчонкам с дежурной

улыбкой, посмеялся собственной шутке. Потом оставил портфель с документами и не спеша зашагал в сторону Гуркина, который продолжал стоять столбом на прежнем месте.

Пошел раствор, застучали лопаты, мы взялись за носилки и совсем уже не слышали, что там такое говорит Маслов Гуркину. А потом вдруг, поверх всего этого рабочего шума – голос-труба: «Да комсомол привык бросаться словами!». Видим, быстро трусит в нашу сторону Маслов, следом медленно шагает Гуркин, затем разворачивается, и на прежнее место.

Володька раскрыл свой «дипломат», выхватил из него курточку. Скинул пиджак, облачился. «Брюки есть какие-нибудь?». Как ни странно, кто-то нашел ему брезентовые штаны. Для себя приносили, что ли? Мы, помнится, с Женькой стали его даже отговаривать, мол, чего это ты вдруг, брось! «А пусть не говорит на комсомол!». Подхватил носилки, штук пять отнес. Всё, стоп, бадью выработали. Маслов выглянул в коридор: Гуркин отлучился по какой-то надобности. Мы немного постояли, поболтали. Вдруг Володька повернул к себе руку с часами, досадливо хмыкнул и стал собираться. Ему, оказывается, еще в райком поспеть надо. Ну надо, так надо!

Вернулся Гуркин, на этот раз он подошел к нам. «А где секретарь? Нет? Вот! Все вы такие!». Кто поднял брови, кто вздохнул, кто пожал плечами и отвернулся. Тут снова подали бадью, и работа пошла сызнова. Подполковник зашагал на свой пост.

И таким манером всю неделю. Ночевал я у Женьки. Дом, старая прочная пятиэтажка, в которой он проживал со своими чудесными дедом и бабушкой, стоял в соседнем дворе. Так что и потом, бывая у своего дружка в гостях или по делу, я бросал взгляд на общежитие, к постройке которого мы тоже приложили руку. А обитали в нем уже представители нового поколения михмачей. Им, как говорится, и карты в руки...

Но для полного завершения воспоминаний, я вернусь к Соколу. Признаюсь, слукавил, говоря, что побывал там только два раза. Был и третий... Заключительный выпускной день нашей студенческой жизни. После ресторана, те, оставшиеся, из нашей группы, кто еще не разъехался по домам, приехали в общежитие. Так вот и случилось, что моя институтская жизнь оборвалась на том самом месте, с которого стартовала пять лет назад. Судьба в своей прихотливости описала круг.

Хотелось расстаться тепло, по-домашнему. А вышло сухо и скучно. Еще за несколько часов до последнего расставания я вдруг ощутил весь холод слова «никогда». В ресторане к нам первыми подошли прощаться Зина Малиновская, Лариса Смирнова и Лена Сидорова. И до меня вдруг дошло, что их я больше не увижу. Никогда и ни при каких обстоятельствах, сколько бы я еще не прожил на этом свете. И этот холод уже не отпускал. Не хотелось ни веселиться, ни шутить, ни, даже, разговаривать. Тоску не могли разогнать никакие проверенные средства. Они только отняли последние силы.

Осталась фотография. Безлюдная улица в лучах раннего рассвета. Вдали круглая станция метро. И вот они, мои однокашники, которые расстались самыми последними. Наташа Савина, Рая Зубцова, Галя Пугачева, Таня Болденкова и Лариса Серегина. А рядом Женя Якоби, единственный из группы, сумевший остаться джентльменом. Каким собственно он и был всю жизнь.

Часть 2 Группа

Итак, в августе 1974 мы стали студентами.

Тот драматичный день, который не раз с надрывом расписывали разные авторы – день вывешенных списков – я почти не помню. Как и особых волнений. Мы с Калитеевским Витькой заскочили в МИХМ ближе к вечеру, а до этого покупали в каком-то магазине мясо. За ним, в основном и ездили в Москву. Да и о чём было волноваться? Во-первых, ничего уже не поправишь. И во-вторых, а это главное, количество набранных баллов огромило само за себя. А еще больше – предварительные списки отсеянных за двойки. Они были настолько огромны, что казалось: где же те, кто всё-таки остался в институте. Хватит ли их на все студенческие места?

Первое собрание в актовом зале показало – хватит вполне! О-го-го еще сколько. В этой толпе я пытался угадать – а где же среди них те, с кем вместе мы теперь будем учиться. Нет, куда там! Единственный, кто всё-таки обозначился и застрял в памяти – Юрка Терентьев, и тот из-за приметного свитера в крупную контрастную полоску на спине и на груди.

Впрочем, главное, что я тогда стремился уяснить из речей, выступлений и болтовни – что такое курс, поток, факультет, семестр, кого называют деканом, а кого ректором. Это было несложно, зато очень интригующе и необычно. Ведь таких слов я еще не слышал ни в школе, ни дома. Хотя, откровенно говоря, на первых порах все эти словечки представляли собой исключительно декоративный антураж. На самом деле ректора МИХМа – Н.И. Басова, в его благородной сплошной седине – я впервые чётко увидел уже на 3-м курсе, а деканом нашего, органического, факультета до самой весны считал Глебова, не подозревая, что он только заместитель. Уж больно властно он распоряжался в деканате. И первую нахлобучку, той же весной, выдал мне и Маслову тот же Глебов.

В общем, так оно и получалось в реальности. Для среднего, ничем не запятнанного студента главными официальными лицами института остаются преподаватель (на время текущего занятия) и, конечно же, староста. Вот уж кого нельзя не знать и на всю жизнь не запомнить. Все прочие михмовские «начальники» практически живут лишь грозными – золотом по черному – табличками соответствующих кабинетов.

Старост нам представили на следующем собрании – уже не курса, а потока. И не в торжественном зале, нет, просто в тесной переполненной аудитории. Это значило, что начались повседневные будни. И здесь же, что по-своему также символично, нам, с моим дружкой Витькой, уже не досталось места, чтобы сесть рядом, как это было до сих пор буквально на всех беседах, собраниях и даже экзаменах. Что ж делать! Я приткнулся возле парня, которого запомнил по жесткой темной шевелюре еще в библиотеке, где мы сегодня получали учебники. Витька сел по другую сторону прохода, рядом с круглолицым, невысоким, но очень солидным пареньком.

Стали зачитывать списки по группам. Старост представлял лично Глебов. Первая группа! Вот ваш староста! Поспешно вскочил какой-то худощавый, светловолосый. Он выглядел очень смущенным, по-моему даже покраснел. Имени этого молодого человека я не помню, вернее, просто не разобрал – было шумно. Впрочем, пробыл он в старостах и группе недолго, а на его место из комсогов передвинулся Осипов, он же Сусик.

Вторая группа! Одаряя всех любезной улыбкой, с места поднялась приятная блондинка с нежными щечками. Огласили третью группу...

К концу ее списка я сидел в легком шоке. Витькина фамилия прозвучала, моя нет! Значит, мы теперь не просто с двух сторон прохода. Нас развели по разным группам. Я смотрел, как с удовольствием раскланивается вправо-влево староста группы номер три – кудрявый здоровяк Киреев. А припоминалось совсем другое. Когда-то, перед началом первого класса меня определили вместо «Б» в «А». Но тогда рядом была решительная мама, мы тут же пошли выяснять, и меня переписали в нужный класс. А здесь надо идти самому. Только стоит ли? Глебов не зря начал с того, что предупредил: « Не ходите просить – переведите меня в одну группу к моей подруге Анечке». Этот грозногласный мужчина явно не шутил.

Тем временем зачитали четвертую группу. Глебов объявлял важным тоном:

-- Старостой будет старшина второй статьи...

Надо же! Я хмыкнул, иронически подморгнул соседу. А он вдруг взял и поднялся в полный рост. Это и был старшина второй статьи Жумаханов, который потом, на втором курсе, задалбливал капитана Гашенко статьями из корабельного устава. Вовка Кошечев любил величать его по отчеству – Александр Валиханович, а сам он представлялся в компаниях скромно и просто – Царь Пятницы.

Прозвучала наконец и моя фамилия, я был зачислен в пятую группу. А вот и наша староста – Наташка Савина. На устах застывшая улыбка, смотрит вытаращенными глазами, словно удивляется : это кем же мне теперь командовать? Впрочем, скоро мы ее зауважали. Она легко находила общий язык с каждым, прекрасно умела составлять расписания экзаменов, так, чтобы сессия проходила полегче и без особых задержек. В красавицах Наталья не ходила, но была в ней какая-то живительная обаятельность. К концу учебы мы даже слегка, по-братски, ревновали ее к парню, которого между собой называли «узкоглазым». (Это прозвище не носило никакого расового смысла или оттенка – для этого не было оснований. Просто, нам хотелось так выпендриться).

Шестая и седьмая группы мелькнули как-то стороной, среди охвативших мыслей стало не до них. И в самом конце собрания привстал и помахал всем рукой круглолицый парень, сидевший по ту сторону сразу за Витькой. Был это староста последней – седьмой группы Коля Фредов. Так мы с моим закадычным дружкой оказались в разных группах, но зато сразу между двух старост. Впору было загадывать последнее желание.

Впрочем, дружба наша на этом не окончилась. Мы по-прежнему приезжали одной электричкой, на лекциях, которые читали всему потоку, садились рядом. Более того, даже одевались одинаково – в черные костюмы. Порою и рубашки из одного и того же Ногинского ситца. Объемистые вместительные рыжеватые портфели – и те у нас были похожи. Правда, я свой любимый портфельчик проспал года через три в последней электричке, а Витькин жил долго-долго, пережив все потрясения, падения, взлеты, революции, катастрофы и кризисы. Может быть, он и сейчас еще жив.

Дружба эта имела и обратную сторону – моё знакомство с одгруппниками происходило очень медленно. Девчонок было слишком много, и все казались мне ужасно взрослыми, да зачастую так оно и было. Часть из них в течение последующих пяти лет постепенно повыходила замуж, некоторые успели обзавестись и ребятишками. Мужей они находили во внешнем мире, внутри нашей группы не сложилось ни одной пары. Стала ли наша группа в этом плане характерным исключением? Если судить по всему потоку, то вполне, на семь групп я насчитал десять известных мне, так сказать, внутренних браков.

Мои контакты с парнями тоже подвигались с большим скрипом. Изначально показались они мне совсем не такими, какими должны быть ребята, поступившие в институт. Расклешенные брюки, джинсы, почти у всех длинные шевелюры. Так в моем провинциальном представлении выглядела шпана или типичные двоечники. Из тихих, спокойных, маломодных ребят, вроде Крючкова, Тимофеева, Бадаева, в нашу группу не попал ни один. А двое особенно лохматых на поверку вообще оказались венграми.

Узнал я такую новость к концу первой учебной недели, и было это для меня, как гром среди ясного неба. Уже несколько дней подряд мы усердно посещали лекции и семинары, на которых еще слушали во все уши, со стоном писали и не успевали за преподавателями. Отвлекаться было некогда. А в перерывах между парами нужно было бежать, искать следующую аудиторию, сплошь и рядом в другом здании. Расписания с обозначениями комнат и лабораторий были у нас на руках (для первокурсников сделали послабление и всем раздали отпечатанные копии), но где что искать – все знали еще слабо. В этих блужданиях я, как на маяк, ориентировался на спину Юрки Терентьева в том приметном свитере, который легко было различить издали. Терентьев всегда знал, куда нужно идти.

И вот очередной семинар пошел вдруг совсем не по теме. Преподавательница истории КПСС Нина Ивановна Баскакова вместо изложения первых шагов большевизма занялась светской беседой. Спросила, как мы себя чувствуем, рады ли, что поступили. Причем обращалась она со своей медовенькой улыбочкой исключительно к сидящим за ближними столами, те ей чего-то отвечали. Остальные понемногу начали болтать, но уже между собой. Я и сидящий рядом со мной русоволосый парень в больших очках не слышали вообще ничего, поскольку уселись дальше всех. Вдруг он мне сделал знак «внимание!».

Оказывается – началось «знакомство». Первой стала рассказывать о себе Чужина, сообщила, что она из Сочи! Я удивленно хмыкнул, а мой сосед снисходительно усмехнулся и сказал, что его родина подальше. Он был из Иркутска, и когда очередь дошла до него, представился, как Сергей Усенко. Мы не подозревали, что и Иркутск не рекорд, будет и Анадырь, и Находка. Баскакова поощрительно кивала, задавала наводящие вопросы и главным образом, что за общественную работу вели мы все по месту прежней учебы. Серега пока размышлял вслух, чего бы такое придумать, потом решил – он скажет, занимался с трудными подростками.

Опрос шел. Все отчитавшиеся в прошлом были секретарями, членами комитетов и дружин, вообще важными персонами. Я только крутил головой, Уся (как мы потом его называли) хихикал – вон сколько комсorghов, только выдвигай.

И тут очередная девчонка заговорила с таким резким акцентом, что не вдруг разберешь. Я только понял, что она сказала «вэнгерка», а имя и фамилия состояли вообще из каких-то непривычных шелестящих звуков. Поскольку она через неделю перевелась в другую группу, я так и не узнал, как же ее звали. Почти сразу поднялся ее сосед, с темными волосами, свисающими до плеч, как пакля, и сказал, что он тоже венгр. И уже никакой неожиданностью не стал третий венгр – Винци Ференц. Этот был вообще, как с киноэкрана о стилягах и шпионах – рыжеватый, волосы пышной шапкой, на глазах затемненные очки.

Переполненный эмоциями, я глянул в сторону и встретился взглядом с высоченным парнем, сидящем в соседнем ряду. В ответ на мою гримасу изумления, он согласно качнул подвижными четко очерченными бровями. Так я обменялся первой дружеской репликой с Володькой Масловым.

Я уже думал, что и соседкой Ференца окажется иностранка, все эти дни они ходили вместе, и она не отпускала его ни на шаг. Но ничего подобного. Такая же наша, как и все мы, правда, с несколько необычной фамилией – Галя Пугачева.

Моя очередь высказываться была последней, причем время уже вышло, занятие закончилось, поэтому, скороговоркой представившись, я сразу бухнул, что никакой общественной работой никогда не занимался. Нина Ивановна пришла в ужас.

-- Это что же, не было никакой возможности? – всё-таки уточнила она.

-- Просто не хотел, - ответил я без всякого сожаления о прошлом.

Маслов потом неоднократно, со смехом, воспроизводил эту сценку в лицах. «Все, понимаешь, врут, кто во что горазд – а этот... Ничего не знаю! Нигде не был! Ничего не делал! Довёл женщину до обморока».

Через день-другой прошло у нас собрание группы на котором, разумеется, обзавелись мы первыми комсorghом и профсorghом (Татьяна Болденкова и Юрий Терентьев), кроме того разными культсorghами и кем-то еще. На этом же собрании представился нам молодой улыбчивый мужчина, сказавший, что будет у нас исполнять роль классной дамы. Иными словами, это был наш куратор Валериан (Гончаров В.В.).

Насколько я слышал от Витьки, в их группе куратора от кафедры практически не было. Вернее, как он выражался «был один раз какой-то дурак». Примерно такая же история и в четвёртой группе. По рассказу Маринки Повериновой, тоже нашей спутницы по ногинской электричке, однажды Лукьянов П.И., заведующий их спецкафедрой, спросил, довольны ли они куратором. «Да, конечно, отличный мужик!» - ответил Серега Фурин. Павел Изотович слегка опешил: « А у вас куратором разве не женщина?».

А вот наш Валериан не оставлял нас до самого выпуска. Многократно заскакивал по разным вопросам, на первом курсе водил на экскурсии по столичным заводам, не отказывался и от театра, на четвертом – приезжал на практику в Ангарск.

И в отличие от других кафедральных проверяющих, строго державшихся официальной линии, Валериана мы встретили, как дорогого гостя. Он не чинился, а у нас оказался прекрасный повод в кои веки собраться всем за одним столом. Благо в Ангарске оказалась почти вся группа. Нас там было четыре парня из шести, и десять девчат из тринадцати (если брать в расчет только тех, кто добрался до диплома). Застолье проходило в нашей мужской, более просторной комнате, было бурным, многоголосым и закончилось большой прогулкой с хоровой музыкой. Куратор уезжал в Москву, группа дружно его провожала.

К слову заметить, эта ангарская практика изобиловала многими, в том числе не очень приятными приключениями, и поэтому вечер с участием Валериана Всеволодовича остался самым теплым воспоминанием.

Что сказать вообще о застольях и общих праздниках? Их у нас в группе практически не было. Не получалось и всё! Попытки самого первого семестра собраться в неофициальной обстановке, как мне кажется, наоборот, не соединили, а разъединили группу.

Первым, еще в сентябре, был затеян поход на природу. Я в тот момент держался от всех в сторонке, идти куда-то с малознакомыми людьми не хотелось, но на всякий случай я решил спросить совета у своей матери. Разумеется, она была категорически против.

Восторженных отзывов об этом походе я не слышал, но в целом прошел он еще ничего. Вторым предприятием такого рода было уже Новогодье. И завершилось полным провалом.

Вот как приблизительно высказалась Болденкова Таня года два спустя. «Да, конечно, с вами собираться. Как тогда? Терентьев сразу за карты, и уселись в преферанс. А потом и дверь закрыли. А вы тут веселитесь сами, как хотите».

Во всем есть своя логика. Терентьев, которому уже тогда перевалило за двадцать, в отличие от меня, начинающего, не пил спиртного не по причине несовершеннолетнего возраста, а принципиально. У него были свои страстишки с дальним прицелом: игра и мелкая торговлишка импортом. И как попутное хобби – хорошая физическая подготовка. Поэтому новогоднее застолье его действительно не интересовало. Как, впрочем, и общение с группой. А через два года он надолго исчез из нашего зрения. Звание профорга группы принял Женька Якоби.

Изначальная позиция Жени среди однокашников была чем-то сходна с моей. И по той же незначительной причине: я не пил вообще, он не приветствовал мероприятий с выпивоном. Хотя, сказать по правде, для установления первоначального общения это весьма значащий фактор. Правда, есть и еще один того же рода, который, пожалуй, даже и важнее. Я имею в виду перекуры.

Среди мужчин группы некурящим оказался я один. Остальные, за исключением Женьки, курили все, в том числе и изящный аскет Терентьев. Евгений же наш всё-таки в компаниях позволял себе побаловаться табачком, но в перерывы между занятиями курить не бегал. То есть в первом семестре и он закрывал для себя единственный канал вольного общения, и оставался почти таким же, как и я, отщепенцем. Но и это почему-то нас не сближало. Дружески сошлись мы гораздо позже, когда оба включились в общий круг.

Процесс происходил постепенно, и тем не менее он шел своим чередом. Первым реальным шагом стало памятное дежурство в раздевалке. Было кстати оно уже не первое, а второе. Самое первое, шестого ноября, проходило строго и четко, под неусыпным контролем и периодическими предупреждениями старосты Натальи. Не нужно шутить с огнем в канун праздника, сейчас все настороже. Предупреждения касались, конечно, возможной выпивки.

Меня такое предостережение искренне насмешило. Помимо прочего, я оказался на дежурстве в бригаде, совершенно не располагающей к праздничному настроению. Дежурили мы втроем в самой маленькой из раздевалок, в тупичке, на повороте подземного перехода между главным вестибюлем и корпусом «А». Кроме меня сюда были назначены две Натальи – Дабижа и Чужинова, обе достаточно замкнутые особы, тоже еще не нашедшие в группе ни друзей, ни собеседников.

Надо сказать, что к тому времени какие-то группировочки внутри группы уже начали складываться. Общались между собой две северянки Татьяна Болденкова и Неля Грах. Вместе держались пять москвичек (Дмитриева, Сидорова, Малиновская, Карпова и Смирнова). Скорешилась веселая троица – Усенко, Воронов и Александров. Некоторые девчонки ещё не определились или, наоборот, подчеркнуто держались особняком, на манер Терентьева. Это в первую очередь следует сказать о Кокоровой Татьяне и Ольге Савельевой. Последняя особенно поглядывала на всех свысока и неизвестно чем гордилась.

Трое из еще не названных мною ребят, оставались на перепутье. Женя периодически общался с Игорем Родохлебом и Юркой Терентьевым. Володька Маслов контактил практически со всеми – он вообще был общительный – но понемножку.

Вернемся к раздевалкам, которых, кстати, в ту пору было четыре. Вторая находилась по ходу того же подземного перехода и располагалась еще глубже, в самом подвале. Напротив нее размещались тогдашние буфет и столовая.

Основная раздевалка, разумеется, была в главном вестибюле, занимая почти половину его площади. Сюда направлялись главные силы дежурной группы. Четвёртая раздевалка – в Б корпусе. Она использовалась редко и нерегулярно, но в первое дежурство часть нашей группы работала и там.

Я упомянул буфет и старую столовую. Шел 1974 год, МИХМ продолжал строиться. Восьмизэтажный корпус Б, замкнувший четырехугольник институтских зданий, был сдан совсем недавно, в образовавшемся дворике только закладывали фундамент будущей большой столовой. Не было еще и стеклянной галереи, связавшей впоследствии корпус Л с корпусом А и замкнувшей воедино кольцо коридоров.

Второе наше дежурство в раздевалке пришлось на январь. Все уже с большим или меньшим успехом прошли первую экзаменационную сессию, побывали на каникулах, порадовали своих родичей, и чувствовали себя вполне оперившимися. А тут дежурство! Целый день без занятий. Свобода.

Инициативная группа в лице весёлой троицы раздумьями не мучилась. Они ненадолго отлучились - до ближайшего подвальчика, а вернулись уже с трофеями. Еще до этого Уся мелькал от одной раздевалки к другой: «Сбегай, подмени Володьку, сбегай, подмени Игоря». Чувствовалось, происходит какое-то подспудное движение. В отличие от прошлогоднего безвылазного сидения по точкам, шёл медленный круговорот людей и событий...

Я стоял у барьера большой раздевалки, время было слегка за полдень. Подошла Ира Синявская и чуть смущенно со смешком сказала:

-- Зайди в маленькую раздевалку. Там... Маслов. Тебя зовет.

В маленькой раздевалке было тихо. Володька сидел за выступом стены. Он выглянул и энергично махнул мне рукой.

К тому моменту я, что называется, вина уже не боялся. Прошло Новогодье, которое я встретил восемнадцатилетним, прошли каникулы. Но когда Маслов поставил на стул два граненых стакана, утащенных из соседнего буфета, и наполнил их до краев густым портвейном, стало жутковато. Но он кивнул спокойно, приглашающее, будто дело было само собой разумеющееся, и взял один стакан. Второй явно предназначался для меня. Отказываться было смешно и пятиться некуда. Пришлось войти в компанию.

Потом минут десять, а то и больше, мы поговорили, как старые приятели. Ему тоже не нравилось, что группа недружная. «Ну, ничего, - говорил Володька, - летом поедем в стройотряд, спаяемся в работе...»

Появился Уся.

-- Где там еще, давай заберу.

-- Да ты что! – запротестовал Маслов. – Это же последняя.

-- Не беспокойся. Женька еще за одной побежал.

Я не поверил своим ушам. Женька, наша непререкаемая интеллигенция?! Что-то сдвинулось в этом мире. Но всё было взаправду... Скоро Женька вернулся чуть ли не под ручку с Кокоревой, и принесли они не «ещё одну», а чуть-чуть поболее. Дежурство продолжалось.

Впрочем, если холодный климат в группе после этого дежурства слегка потеплел, то на том дело и стало. Чуть позже, в конце февраля попробовали мы организовать еще одно мероприятие с участием всех, по случаю массового получения стипендий. (в прошлом семестре они были у двух-трёх). Отправились довольно дружно, по инициативе Маслова выбрали ресторан при гостинице «Москва». И нас туда - не пустили. Причем, в первую очередь именно Маслова, одетого в дожелта вытертые джинсы. Он пробовал уговаривать, пререкался, потом на подмогу Володьке пыталась прийти Надя Садунова. Она была в группе самая маленькая ростом, а тут вдруг оказалась самая бойкая. И одета, по случаю выхода в свет, была, на мой взгляд, даже шикарно. Ее, в таком нарядном платье, несомненно пустили бы в любой ресторан, но всю нашу компанию всё-таки завернули.

По совету Люды Карповой и Зины Малиновской перебрались в кафе «Садко». Где это «Садко» находилось, я так и не уяснил, хотя впоследствии, более узким коллективом, мы и посещали его. И непременно заказывали их фирменное блюдо – мясо в горшочках.

Действительно, в «Садко» проблем не возникло. Мы просидели вечер за узким длинным столом, за которым с большим трудом уместились все разом. Попили сухого винца, потолковали о том, о сём, между теми, кто, усевшись, оказался рядом, а там и разошлись, до метро и в разные стороны.

Ну ладно, скажет кто-нибудь, не пировали вместе, и слава богу. А как же кино, театры, выставки? Могу ответить, на первом курсе было опробовано и это. Помню спектакль «Тот, кто получает пощечины», фильм «Новые центурионы», роскошную выставку пластика, с которой Усенко утянул глянцевый альбом для рисования. Было, да иссякло. Видно, кто не сошелся за столом, тому не сойтись и в искусстве.

Что еще могу вспомнить? Например, как проходили поздравления с 23 февраля и с 8 марта. Конечно, лучше всего запомнились тоже самые первые, изначальные.

Как это обычно и бывает, первыми поздравляли нас. И по календарю, и с очень ненавязчивым намеком, мол не забывайте, женский день тоже не за горами. Слово к мужчинам поручили произнести Ирине Синявской. Потом раздавали подарки, этим руководила Наталья, сама староста. Мне достался модный галстук (который, кстати, Лена Сидорова предлагала подарить Игорю – он хорошо подходил по цвету к его пиджаку). Галстук мне потом пригодился – требовали на занятиях военной кафедры. Подарки же тем временам вручали дальше. Кому-то подарили газовую зажигалку, а кому-то и колоду карт. Кстати, эти зажигалки всего через несколько дней славно блистали на той самой вечеринке в кафе «Садко».

Прошло две недели, и картина повторилась. Причем дело почему-то происходило в том же автоматизированном учебном кабинете по сварке. Еще заранее среди нас было решено не ограничиваться подарками. Коля Александров, от лица мужчин группы, сказал, слегка запинаясь;

-- Девочки, мы вас, в связи с праздником, и в знак уважения, и по общему единогласному решению, приглашаем вас...

-- На сабантуй! – не выдержал Маслов.

Восторженных криков не последовало. Как можно предположить, воспоминания о Новомодье и «Садко» не пропали даром. Но отказ от поездки на квартиру к Александрову, однако не означал, что не нужно вручать подарки. Это вручение состоялось чуть позже, уже в сварной лаборатории, так как занятия в этот день были практические. Все разошлись по темным кабинам с держателями электродов и сваривали там стальные болванки. А Женя и Игорь ходили от кабинки к кабинке с нарядными коробочками и прямо в них поздравляли наших девушек.

Что дарили нам в последующие годы, вспомнить затрудняюсь, но хорошо знаю, какие подарки получали от нас на праздник наши дамы. По маленькой открытке и большому шоколадному зайцу.

Впрочем, один из мужских праздников всё-таки припоминаю. Осталось нас, мужичков, в группе всего шестеро. Отсеялись по разным причинам оба Юры – Терентьев и Воронов, отчислился Уся, ушел на повторку Коля Александров. Укатил в Будапешт Винци Ференц. Один Ласло Пандур стойко защищал честь и знамя дружественной Венгрии. Неплохо учился, освоился с русским языком, после каждого каникул привозил на заказ жвачку, шмотки и редкие книги советского издания. Прибавился в группу и хитроумный Шурка Филимонов, умевший, не ведая дружбы, держаться со всеми, как свой парень.

Получили мы на двадцать третье, с наилучшими пожеланиями, по сувенирной игрушечке-бутылочке коньяку. Ласло сразу потянулся откупорить, на него шикнули. Тем не менее, после завершения учебной пары мы прикупили в буфете три круглых коржика, разыскали укромный кабинетик. И просидели там вшестером первый час следующей лекции за неторопливо чинной беседой. Это был, пожалуй, единственный случай, когда мы собрались все шестеро. Даже среди мужчин не было в нашей группе полного дружелюбия и солидарности.

К слову сказать, а о чём велись у нас разговоры на подобных посиделках? Немного о спорте, немного о войне, немного о загадках природы. Очень мало об искусстве и очень много о политике. О прошлом, будущем и настоящем нашей страны, в которой мы все хотели хорошо жить, и в жизни которой нас очень многое смущало. Именно за эти разговоры, зачастую уходящие за полночь, я собственно и любил наши посиделки. Впрочем, разговор мог вспыхнуть и без застолья, лишь стоило зацепиться языком за больной вопрос. С тем же Женей мы могли болтать в институтском коридоре часа по полтора после последней пары и никак не мочь разбежаться по домам.

Остается вспомнить, как всё пришло к логическому завершению. Месяц спустя, после несостоявшегося «сабантуя» на Колиной квартире, ко мне подошел Женя Якоби. Он сказал слова, каких я никогда до этого не слышал:

-- Ты знаешь, что мы собираемся справлять день рождения Маслова? А без тебя неинтересно.

Вот так так! Конечно же, кто откажется от такого предложения?

Собрались 15 апреля небольшим кружком. В компании были и девчонки – Галина Пугачева и Ира Синявская. И здесь впервые сошлась та четвёрка, которой мы с тех пор отмечали праздники, ездили на практику и просто собирались под настроение – то есть Женя, Игорь, Володька. Пятым с нами в тот день был Уся. Его дружбе с Александровым и Вороновым медленно подходил конец.

Впрочем, такой поворот означал только то, что в нашей группе всего-навсего сложилась еще одна командочка. И это положение теперь сохранится на все оставшиеся институтские годы. О группе, как о чём-то едином целом, можно было больше и не вспоминать. Мы все вместе учились, не ссорились, были взаимно вежливы, но не более. Говорят, бывают группы дружные, где все, как один, и все за одного. Но я про такие, признаться откровенно, только слышал. Наблюдать их в реальной жизни мне не приходилось.

Она, эта самая реальная жизнь, врывается в наш студенческий мирок совсем другими веяниями. Ученичество тянулось, но всё-таки проходило, а где-то там впереди была ещё неизведанная взрослая действительность...

Во время второй сессии сразу после экзамена мне, как и другим, вручили маленький листок с адресом, временем и датой.

-- Что это такое?

-- Люда Карпова выходит замуж.

-- Правда?

-- Ну какие могут быть шутки?! – деланно возмутилась Марина Дмитриева.

Свадьба назначалась на осень, но впереди было еще лето, первый стройотряд, романтика, палатки...

Хм?!

Да куда торопиться, успеем еще погулять на свадьбах! Всё это еще будет когда-нибудь, и не один раз! Не надо опережать события. Ведь мы пока еще совсем молоды.

Раздел 2. Третий - трудовой.

Введение. Слово о стройотрядах и стройотрядниках.

Студенческие строительные отряды. Неотъемлемая часть ВУЗов нашего советского времени. Я не оговорился: ВУЗов, а не студенческой жизни. Далеко не каждый студент побывал в ССО, а тем более – прошел их. Но те, кто именно прошел, никогда об этом не жалели.

В стройотряды попадали трояким способом (и даже четырехъяким). Во-первых: по принуждению и из боязни последствий. Во-вторых: за компанию и из любопытства. В-третьих: добровольно, зная куда едешь.

И четвертая, забытая было, категория – те, кто ехал в ССО по расчету, с далеко идущими жизненными планами.

Кто-то из ребят ограничивался одним сезоном. Но уж те, кто побывал в отрядах дважды, как правило, ехали и в третий раз. Четвертое лето, конечно, лагеря. А затем кое-кто закатывался и на пятый сезон. Влекло ли их что-то, кроме желания заработать? Наверное, каждый ответил бы по-своему.

Лично я прошел три стройотряда. Хорошо ли заработал? Да, неплохо. Столько, сколько и можно было заработать. Не срубить, не загрести, не наварить, а именно заработать. Скажут сейчас – невелика гордость!... На вещи можно смотреть по-разному. Для парня моих лет, моего круга – выложить на стол приличную сумму своих, кровно добытых рублей – значило тогда почувствовать себя настоящим человеком. И мне кажется, так оно и должно быть, между прочим, во все времена.

Но дело не только в деньгах, дело еще в людях! Весь первый год учебы мне так и не удавалось обрести свой собственный МИХМ, в котором я не чувствовал бы себя чужаком, и о котором без смущения мог говорить кому угодно. И вот в стройотрядах нашел то, чего мне так не хватало во время нашей институтской учебы – серьезных крепких парней, знающих цену себе и цену жизни. Речь не о друзьях, друзья – это единичное, их можно встретить где угодно и среди кого угодно, как повернет счастливый случай. Нет, разговор о среде, социуме, в котором комфортно находиться душой; о мирке, которому ты принадлежишь и хочешь принадлежать.

А в институте! В аудиториях и коридорах эти ребята были затеряны среди суетных девчонок и нелепых, зачастую гнусавых преподавателей.... Да уж, из песни слово не выбросишь! Так устроена психика: сохраняются не самые светлые, или темные, а самые сильные впечатления. Ведь нам, органикам, почему-то не доставались лучшие силы кафедр, о которых с вежливым почтением вспоминают потом текашники и криогенщики. Правда, мы переживали об этом гораздо меньше, чем, вероятно думали студенты гордых факультетов. Как говорится, хотите гордиться – гордитесь. Хоть из худших, но лучшие. Все наши носозадиранья остались по эту сторону. А в большом мире мы все МИХМ без различия пола и возраста. Все «михи», как выражалась в наш адрес одна пожилая сторожиха.

Стройотряды же выглядели, как крупный разносортный помол, отсеянный от легковесной пыли бесцеремонным ситом. Сито это и было первым годом, в который попадали все, без разбора. Написал «все», и тут же спешу себя одернуть! Те, кто не боялся и знал, что за него есть кому заступиться, избежали и первого года. С нашего потока, например, к стройотрядам и близко не подъезжали Оля Флорина, Слава Ким, Шура Филимонов, Миша Москвин, Марина Беленова... Кто знаком с преподавательским и прочим составом михмовского многоэтажного муравейника, сам без труда переберет нужные фамилии. И убедится, что, как правило, так и было. И исключения подтверждали правило!

Например, Александр Ильин, наш товарищ по Камазу и Воскресенску. Сын прапорщика с военной кафедры, о котором впоследствии так тепло рассказал Дмитрий Зыков. Не упомянул только о его характерных прозвищах. Называли Николая Александровича «Солнышко» и «Батя». Так вот, сын этого самого Бати работал с нами рука об руку, и хорошо работал. Поясню лишь, что я имел в виду под исключением. За Камаз Саша Ильин неплохо получил, что у его собригадников, знавших, как и все мы, методику подсчета (мы не раз и не два прикидывали, по сколько же нам выйдет) и фактическую наработку по бригаде – легкое недоумение. Как так? Всех постригли, а про одного забыли? Оказалось, Александра выручила одна фраза из его письма домой: «Заработаем мы за месяц рублей по двести, а если штаб не зажмет, то по триста». Нет, Ильину не подкинули лишнего, по благу, он получил столько, сколько и должен был получить за свою работу... Сколько получил бы и любой из нас, будь у нас папа – прапорщик на кафедре.

Часть 1. Труд.

Итак: Камаз75, БАМ76, Воскресенск77.... Мне и моим товарищам достались суровые отряды. Ни Вася Перин, ни Витя Сорокин, ни Анатолий Георгиевич Ряузов мягкостью характера не отличались. Отличались подходом к поставленной задаче.

Васька гонял всех в хвост, и в гриву лично, ежедневно и бесцеремонно. Одновременно мог сам встать с лопатой к бетономешалке и горбить со всеми до самого обеда. Мог припрячь и комиссара Генку. Зато потом, покосившись на очередную могучую кучу мусора, убежденно говорил: «Да нам с Генкой этой х--ни на полчаса!»

Сорокин был вежлив, но тверд и самолюбив. Воспитывал на наглядных примерах, публично карая собственный штаб. Изгнал завхоза Кулешова, добился исключения врача Лены. Парадоксальным было наказание для непокорных – отстранение от работы. Но действовало. Отряд состоял исключительно из добровольцев – новобранцев не было. Все знали: не поработаешь – не заработаешь. А там и турнут, следом за завхозиком.

Рязов же был не столько суров, сколько беспощаден. Его боялись. Знали – не помилует! Напрягала и дистанция, на которой он всегда держал бойцов. Он никогда не вел ни личных, ни коллективных бесед. Сухой протокол. И расправы были не воображаемые. Из отряда вылетели Пушкин, Глухов, Захаров. Даже помилование Караса не смягчило ситуации.

А гонять причины были.

Начнем по порядку, с Камаза. Быстро прошли первые развеселые дни. Особенно первый, когда все вышли, как на субботник. Без бригад, всем отрядом разом. Выданные нам из резерва Камдорстроя лопаты только насмешили. Назвали их «пионерскими», а были они своей металлической частью вдвое длиннее и в полтора раза шире стандартных совковых. «Сачковых» - так мы их стали называть. Прочухал ситуацию только опытный Витька Фролов. Моментально добыл в какой-то куче мусора обычный совок, перенасадил и, хотя дальше пахал, как зверь, к концу дня остался в норме. Остальные до поры до времени только хихикали.

Задача была – очистить проезжую часть новой улицы от чернозема, нагребенного на асфальт после отсыпки газонов и основательно укатанного. Наш 1 линейный отряд растянулся по всей улице. Швыряли в кузова самосвалов, таскали носилками. Солнце жарило всюю. Пыль, пот, чернозем. Когда садились в автобус, ехать на обед – выглядели как черти. Но вот появился Боря Ицыгин. Его встретил дружный рев восторженного изумления, так пропылиться и перемазаться не удалось никому. В автобусе было жарче, чем на улице, это добило. На полдороге все уже молча тяжело сопели. Пришлось Ваське, в обход запретов, направить автобус к пруду. Только окунувшись, народ ожил и мог спокойно орудовать ложкой. А погрузка после обеда, сразу из-за стола в автобус, красноречиво намекала, что всё развлечение кончилось.

Улицу чистили три дня. Думалось, будет же ей, проклятой, конец. Вот тогда разделимся на бригады, как-нибудь всё войдет в норму. Наконец, точка. Первая радость – закончили и объект, и рабочий день на 2 часа раньше (в 18.30). Дотянули, выдержали испытание. А испытание-то было впереди.

Разошлись на следующий день бригады по объектам. Бригада Змейкова - установка парапетов, дорожных знаков (стальных столбов в котлованы 2х метровой глубины). Бригада Ицыгина – отсыпка и укладка бетонной «плиточкой» (1м x 1м) конусов – скатов вокруг опор мостов и эстакад, установка бордюра. Бригада Ковалева – обустройство подземных переходов – бетон, асфальт. И особый разговор о бригаде Киреева – их объектом была знаменитая Яма. Сейчас я бы ее назвал отстойником ливневого коллектора всего микрорайона.

Яма – бетонный подземный куб метров по 6 в каждой из сторон на 2/3 была забита жидкой грязью. Требовалось вытащить вручную всю грязь и потом кем-то будут установлены насосы. Вероятно, можно было сделать наоборот: по методу земснаряда, чем-то перемешать с водой и откачать насосом пульпу. Но зачем, когда есть студенты. И ямной бригаде выдали ведра, веревки и доски (чтобы можно было стоять в Яме и не засасывало). Такая уж техническая задачка.

У Змейкова оказалась своя техническая проблема – вырой-ка лопатой узкую двухметровую ямку! Что первые полметра приходилось зачастую пробиваться через бетон, раствор, битый кирпич, или просто сложенные друг на друга бордюры – мелочь. Ломом пробьешь, помучешься – а вот дальше как? Змеёвской лопатой! Что это? Обычная штыковая лопата, вместо черенка приваренная к 2,5 метровой трубе. И вторая такая же, но согнутая пополам на манер мотыги. Чтобы вытаскивать из ямы землю...

У Ковалева и Ицыгина обошлось без новейших приспособлений, ворочай и ладно. Одна мелочь относительно подземных переходов. Прежде чем дойти до асфальта или бетона, требовалось расчистить место от мусора. Строительного! Кирпич, бетон, земля, доски, да еще всё перепутано проволокой и арматурой. Хочешь – ковыряй ломом, хочешь – лопатой, хочешь - выдергивай, что выдернется, руками. Лопаты пионерские к тому времени уже обрезали в длину до нужного размера, но ширина-то их никуда не делась, да еще с зазубренными краями. (Автоген – не болгарка). Вот и бывало, загребешь лопатой, поднимаешь из кучи, а она широченная да неровная, как зацепится за какую-нибудь гадость. Кувырк и всё высыпалось! А куча цела, машина за машиной, и всё вроде не уменьшается.

Но мусор, так или иначе, заканчивался. Асфальт! Правда, прежде чем его класть, требовалось вымести площадку из плит до блеска. Два дня мели, скребли лопатами. А ветер степной, город пыльный, да кругом стройка. Как дунет – мети снова. Пока не пришел компрессор, который сдул все в полчаса, до укладки асфальта не могли добраться. Но и добрались, не обрадовались.

С первого дня в Набережных Челнах стояла жара. Но пока весь отряд работал длинной полосой, а все-таки в одном месте, с питьем проблемы не было. Выдали от Камдорстроя металлический заплечный термос. Прогуляешься, но попьешь. Но вот бригады расплозились, и стал термос переходящей игрушкой. День пьешь, три облизываешься. Фляг ни у кого нет, ехали не в чистое поле, а в город. Да и что там фляга на

такой жаре. Так и маялись, пока хитроумный Ясончик не свинтил с какого-то краника маховичок. Берёг, носил его в кармашке у сердца. Теперь стал доступен городской водопровод, но вода в нем была – бр-р.

Так вот, жара еще не была жарой, пока не привезли асфальт. Вот тут началось пекло. Горели подошвы, горели глотка и ноздри. Закроешь глаза и видишь, почти воочию, прозрачная, булькающая, фонтанирующая вода. Навязчивое видение. Тяжко, но это было пока наверху. Когда стали асфальтировать под землей...

Мерзкий запах, пот на глаза, ничего не видно кроме густого пара, и где-то вдалеке – пятном лампочка. Как-то, таща носилки, я шмякнулся головой об верх проема. Не видел, кто подхватил носилки, ноги сами вынесли наверх, на воздух. Отлегло... Отлегло, так вперед, готовы новые носилки! После дня такой работы Маслов ночью кричал во сне: «Задохнетесь, отходите к реке!» и добавлял что-то по-английски.

Другим доставалось не меньше, каждому на своем месте. От разговоров, что что-то надо делать не так, Васька приходил в бешенство. А Генка, комиссар, только приговаривал: «Вы за чем приехали? За туманом?». Да, Перин был бесхитростно груб, но при этом открыт и по-своему простодушен. Снисаренко, это было видно, злей и гораздо опасней. С ним требовалось держаться настороже. Недаром Козлевич напевал: «Жить Вася Перин не дает, жить Вася Перин не дает, а Снисаренко уж – снимает пояс...». (На мотив тети Нади).

Чем труднее было ворочать, тем больше они нас подгоняли. Стало страшно просыпаться. Васька всех расталкивал с матюками. Быстрее, никаких линеек, раньше других отрядов на завтрак, и работать, работать. Едешь в автобусе, а мысль одна – неужели сейчас уже доедем? Чем же всё это кончится?

Конец наступил разом, две трети отряда свалилось в дизентерии. Дня за два до того прошла гроза с ливнем – перемена погоды, которую все так жаждали. И началось. Где-то что-то подмыло, обрушился водопровод. Лагерь «Кама», где мы жили в палатках, сел на привозную воду. Затем случился аврал в бригаде Ицыгина (ежедневная наша работа допоздна и без выходных авралом не считалась). А тут было что-то срочное; им вывалили три последние машины бетона в самом конце дня.

Сидим, подходит автобус. Только разместились – «Борька зашивается!». Довезли до них, все хватают лопаты и вперед. А автобус за следующей бригадой.... Короче, закончили, когда уже светили звезды. Приехали, в лагере попить нечего, умыться и не спрашивай. Танька Кириченко сидит за ужином, а пальцы в белой краске!

Ночью обозначились первые подстреленные, у одного, другого, третьего пошла дикая рвота. И слабость. Человек не мог подняться, выбраться из палатки, его выворачивало тут же, у кровати. Поставили ведра, пошла в ход хлорка.

Резко освободили одну палатку, заболевших перебросили туда. Утром обозначилось, что перевели не всех. У меня, например, рвоты не было, но как пробудился, попробовал встать – завертело, зашатало, перед глазами зайчики. Короче – в тот же изолятор.

Дело, конечно, было не в дизентерии. Я, кстати, знал по детским воспоминаниям, что это за болезнь – и не верил. Чтобы так: неимоверная слабость, галлюцинации, голова в тумане. Боялся, что у нас холера. Поговаривали в то время о ней глухо уже второй год.

А состояние было - представить тошно. Зовет, к примеру, Егоркин с соседней кровати: «Дай ведро». Смотрю, не понимаю. «Да вон, у Ильина!». А кто такой Ильин?! Пока пытался собрать мысли – готово дело! Ведро больше не нужно, уже вывернуло.

На следующий вечер - колонна «Скорых помощей». От обычных советских до каких-то огромных, ненаших. Говорили «Мерседес». Первыми вывезли изолированных. Но пока сидели в приемной больницы, «Скорые помощи» все прибывали и прибывали. Пополнили нас теми, кто с утра вышел на работу, а свалился уже днем.

Так вот, о дизентерии. Первые двое суток в больнице я, как и все остальные, проспал. Просыпались на завтрак, обед, ужин и снова вповалку. А, встав на третий день, я убедился, что нет у меня ни слабости, ни головокружения, ни поноса. Кончилась дизентерия! Но держали положенных две недели. Таблетки, которые нам выдавали горстями, я, правда, потихоньку прятал в наволочку. А, по большому счету, требовалось нам всем не лечение, а хороший отдых.

Но отряд не исчез, Васька Перин, уж не знаю с чьей помощью, продолжал числить на работах полный состав. Хотя выходили единицы, уцелевшие. Уцелели не самые сильные, а самые разумные, сумевшие сберечь часть сил и для себя лично.

И дальше заработало то самое жесткое сито. Не все, приходившие из больницы, возвращались в бригады. Не все из уцелевших намерены были работать до конца. Беспрецедентный мор сменился беспрецедентным отливом. Если в какой-то момент работала треть отряда, после возвращения всех – осталась половина. На оставшихся легла вся работа. И произошло странное – сразу стало легче. То ли приноровились, то ли дожди, грязь и холод легче жары. А может быть в нашем СУ на всех стало хватать приличной сносной работы. Ведь дрянь и мусор мы больше не ворочали.

Даже на Яме дело пошло веселее. Те ведра, которые и зачерпнуть тяжело, и вывалить, вытряхнуть – задача для мощных рук и плеч – были оставлены. Грязь поднимали в бадье воротом, сразу вываливали на носилки и оттащивали. Уже показалось и дно... Да видно не судьба! Рванул особенно сильный и затяжной дождь, и грязи за одну ночь нанесло столько, сколько не было и в начале работы. Круг замкнулся.

Впрочем, и лето, и работа шли к концу. Васька носился по Челнам, искал выгодные работенки. О бригадах уже не вспоминали, работали мелкими группами.

Нашу бригаду, бригаду Ковалева, по уезду милейшего бригадира Саши вообще аннулировали. Из больницы я вышел в бригаду Змейкова. Бригаду! Кроме меня там были Пучок и Марс. Через пару дней выписался Мишка Кураченков. Но вчетвером мы проработали только до конца недели. С понедельника я был переброшен в бригаду Ицыгина, выламывать и переставлять на новое место гранитный бордюр. От Борькиной бригады остались только бригадир и название: на бордюре кроме меня работали Баранов, Ясончик и Мак. Мак от Змейкова, остальные – ковалёвские. А оставшиеся бойцы Бориса – Козлевич и Штирлиц (Картавенков), вместе с нашим Сергеем Ивановым – клали плитку на другом, дальнем переходе.

До кучи, для количества, в каждую из таких групп добавляли девчонок, какую-либо из трех (как мы говорили, «трех лошадушек»). Иногда Васька снимал и поварих. Получил такое право, после дизентерии его еще назначили командовать и лагерной кухней. Васька говорил: «Их там на кухне до .уя, им там не’ .уя делать». Поварихи были на ставке, их писали под чужими именами (убывших, но еще числившихся бойцов). По-моему, эта наивная ловкость совсем не пригодилась, наряды закрывались другими методами. Теми, что велись от веку.

Последний объект, выпавший мне на долю - укладка все той же плиточкой (метр на метр) двора жилого дома. Дорожки, площадки. Старший – Гаврош (Букреев), так как Яма к тому времени уже лопнула. И три бойца: Савченков, Баранов и я. Инструмент – штыковые лопаты и крючья. Работали мы там неделю. Красота! К тому же Васька как-то очень удачно закрыл нашу работу. И погода устоялась, стало теплее, выглянуло осеннее солнце.

Обедали в городской столовой. В первые дни брали только алюминиевые ложки, на третий кто-то догадался взять и вилку. И в последний – Гаврош показал нам всем и затем демонстративно помешал в стакане чайной ложечкой. А не черенком от большой, как мы до этого поступали. Это было уже признаком скорого возвращения к цивилизации.

В БАМовской тайге, в отличие от Камаза, подсобной работы не требовалось. И бойцы в отряде были уже битые, способные не только мусор ворочать. Отряд Магистраль76 сформировался на базе прошлогоднего ядра. Мы - девять камазовских выходцев, вошли в него спервоначалу, как своеобразная структурная единица.

Изначально вообще думалось, что с Сорокиным поедет в первую очередь вся Киреевская (Ямная) бригада в полном составе. Но двое – Балкичев и Сявик, не поехали вообще, а еще двое, в том числе и сам Киреев, рванули в другие отряды. У Киреева после второго курса уже не было в группе того безусловного авторитета, Командором его больше не называли. Он решил ехать в Мордовию. Еще один вольный боец – Серега Тимофеев – зачислился в БАМовский, но другой отряд. Отношение к нему со стороны одноклассников, наоборот, медленно шло на подъем. Год назад, в начале Камаза, его, чисто по внешности, числили в слабаках. Соответственно и называли – Тишка или Тишок. Тем не менее, в камазовском кавардаке Тишка не сломался и не запросил «пардону». Устоял и тогда, когда слегло с лишним пол-отряда. Постепенно его уже стали называть Трофимыч (выдумка Мака) и Тимофеич. Зубоскал Гаврош добавлял: «Прожорливый Тимофеич», Сережа ел серьезно, основательно, ухитрялся иногда взять и добавку, и в отличие от многих, за камазовское лето прибавил в весе. Правда, внешне оставался худощавым и неприметным. А уж когда самостоятельно, без группы, уехал в БАМовский отряд, его окрестили «Пронырливый Тимофеич».

И, наконец, третьим компонентом отряда стали свои, да вольные, да «приписанные» - сыны полка и иностранцы. Это был очень разношерстный компонент, но на его основе каким-то образом слепилась особая бригада Крашенинникова.

Соответственно начали расселяться в палатках. Также полустихийно разделились в первые два дня на работах по завершению лагеря. Ставили палатки, достраивали кухню и столовую, копали погреб. Сорокин не вступал, он присматривался.

Мы, камазовцы не входившие в 023 группу (Маслов, Иванченко и я), объединились на плотницких работах с Конопатовым, БАМовцем, не ладившим с остальными. «Фанерой» его тогда еще не называли, это было позже, после прыжка с идущего поезда. Потом, тем же кружком, мы мостили пресловутую кирпичную дорожку.

Рабочих объектов, как по заказу, также было три : укладка путей, стройка на Акульшете, ямы. В день выхода и пошли: Ямовцы – на ямы, БАМовцы – на рельсы, прочие – в Акульшет. Казалось, всё само собой уже скомпоновалось и покатится до конца лета. Но как бы не так!

Сорокин через неделю жестко перетасовал бригады, к тому же Буканов требовал к себе в путейцы самых сильных. Соответственно и я был переброшен к нему из бригады Крашенинникова вместе с Иванченко и Леоновым. Маслов, числившийся неделю лагерным художником, закончил размалевывать палатки и туалеты, и тоже попал в путейцы. Заново поперекидывали иностранцев. С ними обращались более внимательно, выслушивали просьбы и пожелания, но, в конце концов, все оказались там, куда хотел их поставить командир отряда.

Бригаду «Киреева» (с прописавшимися в ней Козловским и Сорокуловым) принял Витка Калитеевский. В нее добавились венгры, один из трех поляков, плюс Кострома и Поручик (Лебедев). Правда, последние двое, несмотря на собственные малые габариты, годные для рытья ям, были перекинuty к Буканову. Не обошлось без протекции с его стороны. А затем Кострома перепрыгнул к Крошу. Он, как и Конопатов, не больно ладил со «своими». Как я понимаю, Калитеевский расстался с обоими без сожаления.

Крош (Крашенинников) строил дома-сарай. Правда, не такие уж халупы, как можно подумать. Кладку кирпича вел у него Франтишек, мастер на все руки из дружественной Чехословакии. Калитеевский копал ямы, мы (бригада Буканова) клали рельсы второго пути. Не всем, таким образом, досталась настоящая БАМовская работа, да и той, как потом оказалось, выпало нашему отряду немного. Хотя - настоящая БАМовская, надо честно признаться, не означало - самая трудная. Класть вручную рельсы (закидывать на шпалы, протаскивать их до стыка клещами) оказалось не самое трудоемким и неприятным занятием. Самое плохое, как водится, было до и после. Разгружать шпалы, когда за шиворот сыпется песок и щепка, пополам с креозотом, раскидывать эти шпалы щипцами. Особенно здорово, если ночью прошел дождь, шпала прилипла к глине, и, когда пытаешься тянуть, вместо шпалы едут собственные сапоги.

Почему-то не было такого, чтобы привезли порцию шпал, затем рельсы, а когда прошли кусочек перегона, снова шпалы, за ними рельсы. Нет, все шпалы сразу, в крайнюю точку, куда доходит грузовик. А дальше вы их ручками, ножками. Настолько, насколько хватит глаз, и еще чуть-чуть подальше. А там, глядишь, и рельсы подвезем! Честное слово, потом, в карьере, всё было слаженной. Шпалы, на них рельсы, несколько звеньев. А по этим рельсам – ручной вагонеткой новую порцию шпал. А рельсы с другой стороны, постепенно – трактором.

Сами-то рельсы что! Встало двадцать бойцов с ломками. Все вместе дернули по одной общей команде, еще, еще раз. Глядишь, и закинули конец рельсы на шпалы, точно так же другой – вот вам и вся рельса на шпалах. Ставь, стыкуй, пришивай! Со стороны смотреть, вообще не разберешь, чего там эта маленькая кучка людишек возится. Только и слышно, как команда выкликается. Рассказывали, что в прошлом году командовали: «Х.. в лоб! Х.. в нос! Х.. в рот!» Но у нас команду подавал интеллигентнейший Саша Митронов, и посему звучало нейтральное: «Подобрались! А-раз!»

Ну, пришивать костылями рельс к шпалам.... Всего навсего: отдает по рукам держащему шпалу лапчатым ломом, да время от времени летят молотки. Бывает конечно, промажет молоток по костылю, вот тогда и даст лапка по пальцам во всю силу. Особенно, если лупит Леша Леонов, а на ломе висит Поручик. Но сам молоток! Молоток, это был тот самый инструмент, к которому изначально более всего у всех тянулись руки. Не только у нас. Ведь и весь БАМ завершали не серебряным болтом, не серебряной накладкой или противоугоном, а именно серебряным костылем.

Каждому хотелось самому забить пусть не серебряный, но все же костыль. То единственное, что соединяет рельсу со шпалой – создает рельсовый путь.

А постучали – разочаровались почти все. Кто в молотках и костылях, кто в собственной умелости. По костылю-то еще нужно попасть и при этом хорошо ударить. Костыль не гвоздь, лезет в шпалу довольно медленно. Намашешься впустую. Тут на фоне новичков хорошо выглядели старые БАМовцы, они уже прошли школу.

Особенно хорош был Митронов. Он заносил молоток вверх особенным круговым движением вокруг оси собственного плеча. Остальные почему-то просто задирали в две руки на манер колодезного журавля. Это отличие, но конечно и в добавку к тому, что Митронов неплохо бил, молчаливо определило за ним репутацию самого опытного костыльщика. Характерно замечание Саши Радина.

Однажды произошел спор, как быстрее пригвоздить шпалу. Изначально наживить все костыли и только бить, или не тратить на это время и вгонять по одному? Спор вылился в соревновательный поединок, в котором сошлись Радин и Митронов. Остальные столпились и пялили глаза, стараясь не подавать реплик, чтобы не мешать поединщикам. Однако какие-то словечки проскакивали, и вдруг Радин со смехом воскликнул: «А вот хоть бы один гад болел за меня! Все за Боцмана!»

Но через пару недель привезли пневмо молоток. Двое самых сильных - Шкаф и Кабан (Саня Леонов и Гена Пудеев) по очереди вгоняли костыли, знай только – наживляй. Мы с Масловым вообще вели вторую нитку – параллельно первому, уже пришитому рельсу фиксировали второй, устанавливая габарит пути. Работа не ломовая, наоборот – ответственная. Быстро уходили вперед от бригады. Но посидеть Буканов не давал, закончишь своё – на подмогу другим!

Зато, когда полотно уже сшито, и начиналась самая что ни есть работа. Сначала сделать из кривого прямое. Рихтовка! Вперед-назад, вперед-назад... С утра до позднего вечера. Волну к свободному концу, а сзади чтоб ровная ниточка. Прошли казалось кусок, нет! Опять возвращаться. Даже вспоминать не хочется. Потом балластировка. Шпалоподбойки! Хороший инструмент, только после него в голове гудит, да всю ночь руки ноют.

Тем не менее, самым провальным объектом, объектом-каторгой, всё равно считались ямы. Идти туда не хотел никто, а посылали постоянно, в добавку к ямной бригаде, при любой паузе в работе других бригад.

Что все-таки за ямы? Ничего особенного: полтора на полтора метра, да вглубь... на четыре с половиной. Под столбы для электрификации пути, БАМ все-таки, не песчаный карьер.

Считалось, что метра два человек копает в одиночку. Затем по двое, с ведром на веревке до самой проектной глубины. Но получалось очень медленно, и бригадир Витька изменил процедуру. Его бойцы копали по одному вглубь, саперной лопаткой, насколько это было возможно. Пусть неловко так высоко выбрасывать, пусть частично грунт сыплется вниз – всё равно быстрее. Наловчившись, его ребята умудрялись выкапывать по яме в день на брата.

Конечно, все пришлые такой производительности не давали, да и не хотели дать. Только однажды Шкаф с Поручиком вырыли в день по яме. Причем яму, вырытую Шкафом, сразу обозвали «могилей», она по длине была вдвое больше прочих. Остальные при первой возможности переходили на ведра, и не спеша, по переменной... Чаше Витька на такую нерадивость, скрепя сердце, смотрел молча, хотя бывало, и крупно срывался. Но, в общем, был за то, чтобы пришлых разогнать по шее, по своим объектам.

А рельсовая эпопея все сужалась и сужалась. Сначала мы, по всем правилам, клали полотно второго пути. Дошли до заданной отметки и что-то где-то не того. Дальше пошел путеукладчик, а наша бригада – на боковую ветку в тот самый песчаный карьер. В принципе мало что изменилось, работа та же. И даже проще – отпала балластировка с ее дикими шпалоподбойками. Теперь балласт вместо гравия – песок, и подбивка его под шпалу – деревянными лопатами – штокками. Зато место не под руками. Везли иногда в самосвале или на тепловозе. Но, как водится, поначалу. А там всё больше пёхом и пёхом. Работали же, наоборот, слаженно, клали гораздо быстрее, чем на путях. Но дошли и здесь, уперлись в нетронутый склон.

Несколько дней «отдыхали» на ямах. Затем вернулись на тот же второй путь. Предстояла совсем хитрая работа. Путеукладчик ушел далеко вперед, путь лежал новешенький, предстояло лишь его подремонтировать, чтобы стал он еще лучше. Кто не знает, вряд ли догадается, что еще можно доделывать на только что промышленным способом уложенных путях.

Если без околичностей – меняли шпалы. Удаляли все, не проходящие по нормам: тонкие, короткие, косые, кругляки. Штук до сорока на звено приходилось. В общем – нетрудно, спокойно, никакой рихтовки, вот только погода подгадила – задохнуло. А в сырость лупило нас наведенными токами. Кого больше, кого меньше. Крайними были: Зейгерман, дергавшийся и на солнышке, и Трахман, которого совсем не било.

А так – даже весело. В одну сторону вагонетка, загруженная шпалами, в другую – порожняком, и сами вместо шпал. Разгон – двое бегом, каждый по своему рельсу, и понеслись. Разгонялись так, что потом приходилось тормозить.

Но чем дальше, тем меньше и всё чаще – ямы. Потом вообще из бригады выделили две команды «шабашников»: трое на заготовку лесоматериалов, шестеро – изоляция теплотрассы. А остальным – ямы, ямы, ямы! На них всем отрядом и закончили БАМовский сезон.

Лето 1977 года. ССО Воскресенск ... Отряд отрядов! Гордость МИХМа и ближайших окрестностей. Самые высокие из комсомольских комитетчиков, и даже партийных, не брезговали командовать этим отрядом.

И в самом деле: индивидуальный набор бойцов, никаких женщин и детей, специализированные бригады, отрядные самосвалы с собственными водителями. Такой ССО уже можно было назвать (по современному) строительной подрядной организацией.

Набирал людей и натаскивал лично Анатолий Рязов. Те, что не были, или не становились, его людьми (а пытались, скажем, опираться на комиссара Тимонина) в отряде не выжили. Так отменялись даже мелкие остатки вольного духа. Все было жестко и однозначно, каждый боец ставился на определенное место, и оставался на нем до конца. Что-то вроде железной когорты, развернутой в боевой порядок.

Структура отряда тоже была задана изначально. Бригады создавались под бригадиров, каждой из них отводилась вполне определенная роль. Бригада, которой назначено было стать передовой, на которую все должны были равняться – бордюрищики Николая Намоконова. Бригадир – невелик телом, но грозен видом и манерами – мускулистый каратист с репутацией несшибаемого единоборца.

Две неприметные бригады (плиточники и каменщики), призванные жить тихо, вне конкурса. Их бригадиры, Михайлов и Карасев, получили свои места за какие-то неведомые достижения или заслуги. Главное, на что они рассчитывали, прожить сезон спокойно, без административных катаклизмов. Так оно и вышло.

Особый, потрясающий вариант – не передовая, а *эталонная* единица – плиточники Роберта Саламова. Эта бригада не должна была указывать всем дорогу, как путеводная звезда, она тоже стояла вне конкурса. Но! Она должна была служить вечным живым укором, чтобы никто не воображал о себе лишнего. «Если бы все работали, как Роберт», – эти слова не моя импровизация, а цитата. Роберт, надо сказать, прекрасно подходил для своей роли. Неутомимый работяга, отличный бригадир-организатор, превосходный мужик, при этом красив и великолепно сложен. Кроме того, действительно хороший врач.

Одна из двух оставшихся бригад (плиточники Каткова и кровельщики Глухова) должна была, еще сама того не подозревая, сыграть роль «мальчиков для битья». Какая из двух – решат будущие обстоятельства. И в этом заключался весь выбор. Я попал в бригаду Каткова.

Работу мы начали не с плитки. Первый день, пока шел развоз материала, весь отряд вышел на постройку забора. Нужно было оградить насосную станцию. На второй день осталась только наша бригада, и колотила его в пять топоров до полного завершения. Забор дал хороший заработок, но в актив бригады его не зачислили. День перед сдачей забора я проработал в еще формирующейся будущей бригаде Саламова, где впервые увидел, как кладут тротуарную плитку. Пока, до поры, нами командовал Клевченко. Серик Сейдуманов, тоже член бригады Каткова, был отправлен во временную транспортную группу. С Юрием Катковым, на завершающем осмотре и доводке забора остались два Коли – Петров и Морозов, так и вошедшие потом в его «гвардию».

К слову сказать, рядовые стройотрядники четко подразделялись на две разновидности. Одни, я только что назвал их гвардией бригадиров, практически весь сезон работали в составе одной и той же бригады. Вторые – назовем их подкреплением – постоянно перебрасывались из бригады в бригаду. В том числе иногда в свою, в которой продолжали числиться. Можно ли утверждать, что одни по сравнению с другими были лучшими работниками? Вряд ли. И там, и там были и трудяги, и прохиндеи (немного, но не без того). Но товарищеская связь со своей бригадой непоправимо нарушалась, и к концу сезона все подкрепленцы ощущали себя как бы еще одной неформальной бригадой.

Ряузов на первых порах старался (в отличие, скажем, от Перины и Сорокина) не дробить бригады, но обстоятельства были сильнее, и скоро все пошло по накатанному стройотрядовскому маршруту. Но формально эта практика была вне закона и официально не признавалась.

Роберт сформировал бригаду и двинулся в полную силу, проблемы Намоконова еще не вылезли наружу, но Катков, располагая неурезанным составом людей, по выработке не отставал, а иногда и опережал. К тому же в бригаду Каткова прибавился Женька Осокин, местный воскресенский михмовец. Такое положение, похоже, не входило в планы штаба, и гроза разразилась.

Удары посыпались на бригаду кровельщиков. Им не с кем было сравниваться, как, например, плиточникам, поэтому ругать их можно было за что угодно. К тому же люди они были в основном взрослые, держались независимо. Опять же, множество осложнений, которые, при желании, совсем не принимались в расчет: необходимость разогрева битума, монтаж на каждом новом месте подъемных блоков, частые переезды.

А тут еще как раз вовремя подоспел большой объект: с жилых домов кровельщики перешли на крышу ледового стадиона «Химик». Бригаду усилили людьми, перебросили от Каткова меня и Сейдуманова, из бригады Михайлова пришел Черемных. На комиссара Тимонина было возложено дополнительное курирование. Дело казалось бы и шло: Зимин (Варила) поднимался затемно, разогревал битум, его затем без задержки в два приема закидывали на самый верх (Алексеев и Емельяненко вручную тянули канат). Что и как делалось на верху – не знаю, работал на промежуточной крыше. На верхнюю не поднялся ни разу, просто не было достаточных пауз.

Но скажу одно, обошлось без жалоб на качество. Если бы были, досталось бы всем нам. А темп работы, кто его знает? Во всяком случае, вырабатывали весь битум еще до вечера.

Однако кровельщиков постоянно склоняли – плохо работают. И в самый разгар работ на «Химике» оштрафованы Захаров и Глухов. За нарушение техники безопасности. Прилюдных разборок, разумеется не было. Захаров ушел сразу, Глухов, как бригадир, завершил объект. После этого сдал бригаду Николаю Конкину.

Я вернулся к Каткову, там как раз выкладывали дорожки и площадки на территории детского сада. Ребята уже сработались и с моим возвращением Юрий, наконец, запустил давно им намеченный способ укладки площадок – два плюс три. То есть двое с мастерками только выравнивают раствор, а трое только кладут плитку. Саламов никогда так не работал. У него всегда на кладке было трое (Казаков, Титов, Опарин), каждый в своем углу, а двое на обеспечении материалом.

Закончив с детским садом, наша бригада перешла на дорогу вокруг больницы. Это не площадки и тротуары, широкая полоса, сразу можно дать большую выработку. Дорогу мы снова клали тем же способом, а раствор, целыми машинами принимали сразу в место укладки, то есть без всякой перекидки. Катков снова стал опережать Саламова.

Вкратце следует сказать об отношении к труду в Воскресенском отряде. Лениость за спиной своих собригадников осуждалась и на Камазе, и на БАМе, причем не всегда словом, иногда и действием. Не собираюсь называть ни тех, кто подвергался экзекуции, ни тех, кто участвовал в этих сомнительных делах. Но сам факт замалчивать не хочу. В Воскресенске же, где работа в основном была не ломовая, виной бойца перед бригадой было и неумение что-то сделать, и бездумное ворочание, вместо разумного решения. Кивать на других не приходилось, если кто-то вовремя что-то не сообразил и не предложил, рейтинг его среди своих сразу падал. Стараться сделать за день больше считалось в порядке вещей. Все помнили, что приехали заработать.

Катков не успел закрепить высокие показатели, в передовой бригаде бордюльщиков наметился полный провал, и ее стали резко усиливать. К тому же Конкин, один из двух лучших бойцов Намоконова, ушел к кровельщикам бригадиром. В числе других подкрепленцев я перешел в бордюрщики, и до конца сезона

работал то у них, то на кровле. К Каткову больше не возвращался, но продолжал числиться, тем самым, как потом выяснилось, снижал их показатели. Катковцы работали то вдвоем, то вчетвером, а считалось, что их шестеро. Серик Сейдуманов тоже продолжал числиться у Юрия.

Бордюрики зашили на очень видном и представительном объекте. Они благоустраивали улицу Менделеева – центральную в Воскресенске. Снимали бетонный бордюр и заменяли на гранитный. Только снимали и заменяли – очень причесанные словечки. Старый бордюр выламывали, новый – вгоняли. Гранитные куски, обработанные по двум смежным плоскостям, с тыла могли представлять что угодно; любые выступы, наросты, или наоборот – впадины. Попадались и невероятные глыбы, под которые приходилось раздалбливать место или, как айсберг, зарывать в землю на две трети тела.

В общем не то, что стандартные бетонные брусочки. Кстати, эти самые брусочки, которые отбивались и выковыривались на Менделеевской, мы же устанавливали на параллельной улице Победы. Но ставить их было проще, и эта работа проводилась периодически, большими субботниками, силами всего отряда. Где-то уже во второй половине августа.

У намоконовской бригады произошел затык с отбиванием бетонного бордюра. Ставить-то гранитный они успевали, а освободить для себя же место.... Спервоначально они били ломами, надеясь на слабое сцепление. Я сам знаю по опыту, что иногда бордюр только сидит за счет веса, а ковырни – раствор от него отскакивает целыми пластами.

Здесь был не тот случай, и через несколько дней Муравьев, наш главный работодатель, выделил компрессор. Но что-то опять не шло. Вслух не обсуждалось, однако просачивалось: жаловались, что часто ломаются пики отбойников, новые приходится ждать. Помню еще обрывок из боевого листка, там пики названы скарпелями: «...Мы взываем ко всему, чему только можно, в том числе к Пушкину: «Товарищ, верь, найдется он Скарпель стальной и очень нужный. И не приснится этот сон, Мучительный и очень грустный». Передаю по памяти, но уверен, что точно.

«Я этого не писал, - сказал наш Пушкин, прочитав заметку, - Александр Сергеевич тоже».

В общем, к середине сезона, когда мы были брошены на усиление бордюриков, они колотились на последней трети левой стороны улицы Менделеевской. Правая была еще не тронута. На отбойнике стучал лучший боец Намоконова – Генка Корягин. Подкрепленцев приставляли к нему на подмогу, с ломом и лопатой.

Зачем, казалось бы, лом и лопата? Можно ведь освободить бордюрный камень одним отбойным молотком. Можно! Но на это уйдет с полчаса. К тому же, если отбойщик нетерпелив, и будет отбойником не только разбивать, но и отламывать куски, в конце концов сломает пику.

Вот тут и важно значение напарника. Отбойный молоток пускает только глубокие трещины в монолите раствора и, не задерживаясь, идет дальше. А лом и мышечное усилие напарника завершает дело, выворачивая обломки и сам бордюр. Если у напарника достанет силы и старательности, он еще успеет и траншеей лопатой прочистить. Тут и был затык у Намоконова, не мог он на весь день выделить на отбойник достойную двойку, с кем-то надо и бордюр ставить.

А теперь, с усилением бригады, Генка мог не только стучать по полдня, но и сам выбирал себе напарника. Траншея стала быстро уходить вперед. Пики тоже перестали ломаться. И как только добились левую сторону, на правую штаб выделил ударные силы.

Из бригады Карасева перевели Шкафа – Александра Леонова, в прошлом самого сильного БАМовского бойца после Карела Шимана. От кровельщиков был переброшен Володька Емельяненко – резкий, задиристый молодой человек с неуживчивым характером, но зато с мощным торсом и руками. И даже – святая святых – от Роберта забрали Калитеевского Виктора.

Привезли второй шланг и молоток, присоединили к тому же компрессору. Генка Корягин, как самый опытный бордюрик, вернулся в бригаду. А мы встали к компрессору в две двойки и понеслись! Четвертым, в паре с Калитеевским был я. Колотили мы несколько дней, с утра до вечера, прерывали нас только обильные, но короткие ливни, от которых прятались в ближайший подъезд.

За эти несколько дней мы раздолбали вдрызг и хлам всю правую сторону. Громили весело, только Леонову доставалось от Емели. В Воскресенске Шкаф не захотел признавать своего БАМовского прозвища, которое там среди своих его не обижало. И тогда Емеля заявил, что будет называть его – «Малёк». И называл, и всячески подкалывал. Хорошо, улица скоро кончилась и все, кроме меня, вернулись назад по своим бригадам.

За такие достижения бригада Намоконова прочно и навсегда стала на первое место. Получила и грамоты и самые обильные премии. В своём штатном составе...

С Витькой Калитеевским мы проработали напарниками еще несколько дней в самом конце сезона в кровельной бригаде. Это был второй случай за все три стройотрядовских года. К тому моменту все бригады уже вышли на финиш, а у кровельщиков «горели» несколько незавершенных домов. Им дали в подкрепление четверых, кроме нас еще Черемныха и Сейдуманова. И носились мы в последние дни с дома на дом, по три раза на дню монтируя и сворачивая блоки и лебедку. Последнюю крышу долатали вечером, в день завершающего банкета.

Когда вернулись, мы еще увидели этот банкетный стол, оббитый и объединенный со всех четырех сторон. Ребята, кроме группы ликвидаторов, уже разъехались. Мы выехали следом, последней электричкой, шестестером, включая мастера-Олега и Рязова.

Кстати, не следует думать, что с банкетом кровельщиков прокатили. Кое-что нам предусмотрительно завезли на последний объект. Там же во дворе мы и посидели, сложив квадратом четыре неизрасходованных рулона рубероида.

Часть 2. Быт.

В своих самодеятельных песнях мы, как нам того и хотелось, называли себя первопроходцами. Конечно, в каком-то смысле, каждый строитель – первопроходец. Приходит на нетронутый, а то и загаженный пустырь, оставляет же после себя вполне пригодное здание, вдобавок еще и благоустроенное. Но настоящими первопроходцами, пионерным десантом в дикий и тем более суровый край стройотряды не были. Во всяком случае, МИХМовские моих лет.

И это очень хорошо. Не хватало еще бросать зеленых юнцов в экстремальные условия. Достаточно того, что они шли туда, где некому было взять на себя всю тяжесть и грязь не самой привлекательной работы. И ни к чему было усугублять тяжелым бытом и без того нелегкую долю стройотрядовца. Надо отдать должное всем трестам и различным строительным управлениям, под флагами которых мы работали. Нас не заставляли спать вповалку на земле и питаться подножным кормом.

Мы жили в палаточных лагерях – то есть временных сезонных поселках с минимумом удобств, но минимумом твердым. Не знаю, кто строил лагерь «Кама», наши предшественники – студенты или настоящие строители. В моих глазах именно этот лагерь представлял собой тот достаточный минимум : три ряда палаток, поставленных на деревянные каркасы, с настеленным полом и дощатым тамбуром (предбанником). С наружи предбанника, у каждой палатки, навесик и столик со скамейкой. Бетонные дорожки вдоль палаток и к местам общего пользования : туалету, типа сортир, холодной душевой, кухне. Для кормежки подобие полевого стана – ряд столов со скамьями под навесом. И даже центральный плац для линейек, и на нем несколько высоченных мачт.

Наши соседи по «Каме» - ереванцы, втормедовцы (МОЛГМИ) и «щучкины дети» (из Щукинского театрального училища) вполне удовлетворялись полученными в лагере благами. Армяне, правда, добавили телевизор, смотрели чемпионат по футболу. И как на смех, именно в это лето победил «Арагат». Ох, и шуму было на их половине («А вот она какая Армения моя!»).

Но МИХМ посчитал, что в лагере «Кама» кое-чего не хватает. Во-первых построили три курилки (по одной на отряд). Во-вторых – пригнали три вагончика. Два из них заняли штабы отрядов, третий пошел под медпункт. Дело, бесспорно, хорошее, нужное. Правда, маловат оказался вагончик; случилась дизентерия – под изолятор пришлось освободить целую палатку. И, в-третьих, когда наш первый линейный уже скреб улицу, два других отряда задержались на день в лагере и в числе прочих мероприятий возвели монумент. Вкопали мощный телеграфный столб, сверху приколотили площадку, а на нее – ярко раскрашенную тачку. Вокруг этого столба потом разыгрывала представления агитбригада, в основном люди из пятого отряда Верховолова. Из нашего Васька Перин бойцов в агитбригаду не давал, а что представляла собой самодеятельность 1го линейного, я опишу в третьей части.

Тут стоит упомянуть, как нам случилось увидеть образцовый лагерь, так сказать, студенческий «Артек» камазовского образца. Где он находился – сказать не могу, прогулок, а тем более экскурсий мы по городу не совершали, я до сих пор смутно представляю географию Набережных Челнов. Мы втроем : Воронов, Козицкий и я, еще квартирьерами, приехали в этот лагерь на денек, якобы чуть-чуть что-то подправить и разнести кровати. В «Каме» по предварительным оценкам не хватало на всех палаток. Оказалось, что палатку в этом шикарном лагере нам никто не приготовил, под нее еще надо было, как минимум, соорудить каркас. Мы потолкались там часок, со своим молотком и рукавицей гвоздей, и, в конце концов, уехали. (В штаб к Тимонину, где доложили, что выполнить задание не видим возможности).

Но лагерь разглядеть успели. Особенное впечатление он произвел на Ковалева, так же оказавшегося в тот день в высадившей нас машине. Чем же он отличался от «Камы»? Дорожки, но с бордюрами, выкрашенными в два цвета. Палатки все новенькие, а не выцветшие с позапрошлого лета. Наши дважды перезимовали под снегом. Не сухая трава, а подстриженный газон. То ли местность там была влажнее, то ли его поливали. Кругом, на палатках, на столовой – флаги и красные полосы транспарантов.

И по периметру ограда: ровный штакетник из струганных, крашеных реек. Наш-то лагерь был открыт прямо в степь, вернее в Сабантуйское поле (о нем тоже в 3 части).

Полагаю, что заслуживающим внимания отличием в том «Артеке» была горячая вода в душе. Но не ручаюсь! Это сейчас мой искушенный глаз разом бы выхватил трубу котельной, но тогда я мало что знал о подобных вещах.

Одним словом, тот же палаточный лагерь, но тщательно припомаженный. Но Ковалев, как только вернулся, сразу принялся за флаги. Циник и себялюбца Юрка Воронов высказался по этому поводу: «Саша после того лагеря готов яйца красной краской выкрасить».

В общем, так мы жили в палатках, значительно уступая по бытовым трудностям воспетым геологам и целинникам. У всех были вполне годные пружинные кровати, по всем правилам застеленные, а на Камазе даже и тумбочки. Следует заметить, что Камаз, конечно, представлял более обжитой регион. А в 1975 году, в канун пуска автозавода, он вообще кишел стройотрядами со всей страны. Другое дело – БАМ. В 1976 до победного костыля было еще далеко, и, кроме того, никакое, даже теоретически возможное скопище студентов не могло бы заполнить его огромную территорию.

Поэтому лагерь отряда «Магистраль» стоял вдали от всего. Исключение – 4 домика Второго Разъезда и передвижная база путейцев-улькановцев. Шутя мы называли их «конкурирующая фирма», но на деле бегали за всякой помощью. Мужики там были крепко пьющие и крепко работающие – живой советский парадокс в полной красе ежедневного воплощения. К нам же ко всем они попросту обращались «Саня», и не просто так – в отряде каждый третий был Александром, во всех сочетаниях. От Александра Ивановича до Александра Леонардовича. Даже два Александра Александровича (Целиков и Фролов) за такое упорство в имени наименованные Сын и Внук.

Лагерь на нетронутой лесной опушке был, таким образом, полностью построен силами квартирников и подросшего следом отряда. Он стал одним из бесчисленных повторений БАМовских и Камазовских лагерей с палатками, матцами и сортиром. И даже, в отличие от «Камы», столовую выстроили не навесом, а в виде большой открытой веранды. Это было очень хорошо, так как БАМовская мошка, в отличие от Камазовских ос, не любила закрытого неба и не шибко нас донимала во время завтраков, обедов и ужинов.

Итак: три палатки веером (каждая смотрит дверью на столовую), центральная курилка, фонарь на большом столбе, на всгорке неизбежный штабной вагончик. И даже дорожка, та самая несчастная дорожка, которую мы мостили битым кирпичом в компании с Конопатовым.

Дорожка, как и все показное благоустройство, была инициативой комиссара Миши Латыпова (он хороший человек, и не на том будь упомянут). Мы колотили кирпич на каком-то брошенном фундаменте (или просто свалке) обухами топоров и потом отсыпали на кратчайшем пути между будущей столовой и будущей курилкой. Замостили от и до, а вот укатать кирпичные осколки было нечем. Трамбовать же вручную идею никто не высказал, зная, какое последует воплощение. Так и осталась полоска битого кирпича, а вдоль нее, с двух сторон, плотные утопанные тропинки. Если же кто вступал ненароком на эту кирпичную дорожку, особенно в кедах, тут же стонал или матерился от боли в ступне. Это было не то, что пройти по битому стеклу, но чем-то похоже.

Матцы и флаги – особая тема. Может быть, кто-то в высоких штабах и желал, чтобы день в его ОССО начинался с поднятия флага.... Не знаю, но на самом деле начало дня в стройотрядах знаменовалось выкриками бригадиров и командиров, требующих печатно, а чаще непечатно, чтобы вся эта ленивая кодла наконец поднялась. Дальше недружный выход, развод на работы, нагоняи и втыки за вчерашние грехи. До флага ли тут с горном и барабаном?

Но матцы ставили, и флаги поднимали. Я уже упоминал, что в лагере «Кама» стояло четыре матцы. И все на манер падающих башен, каждая в свою сторону. Одну мы, квартирниками, завалили и поставили наново. Не очень прямо, но как сказал Санька с ТК (Макаров), «по сравнению с другими, она вообще снегурочка». И подняли флаг – несчастную красную маечку Сергея Алейникова. Так она и болталась на ветру до приезда отрядов.

На БАМе требовалось поднять целых четыре флага, по числу дружественных стран, представленных в ССО. С польским и чешским было проще – их сшили из советских, с кусками простыни впридачу. А вот для венгерского требовалась зеленая полоса. Ее комиссар Миша решил промазать зеленкой. Через пару недель эта полоска побелела, и чей стал флаг – непонятно. Впрочем, наши иностранцы смотрели на это весьма здраво, без международных обид. Более того, когда поляков спросили, как правильно укрепить польский флаг: так или вверх ногами, они только переглянулись. К счастью, комиссар был в курсе и повесил правильно.

Как это кому не покажется мелким, гораздо чаще среди бойцов обсуждалось, не как висят флаги, а что сегодня на обед. Не знаю, насколько она стара, но в наше время бытовала такая присказка: «За едой говорят о женщинах, за работой об еде, а с женщинами – о работе». А так как в любой день работали мы дольше, чем ели, то, уж поверьте, о женщинах говорили до невероятия мало. Зато с каким вождением вспоминали! Кто-то шашлычок и отбивную котлетку, а в основном – или булочку, обильно намазанную маслом или жареную картошку. Ароматную картошечку, целую сковородочку!

Из этого легко сделать верный вывод – кормили нас весьма не жирно. Чем Камаз был лучше БАМа или наоборот? Попытаюсь ответить.

Не могу огульно похвалить кухню лагеря «Кама», готовили там разнообразно и, в общем, питательно. Недаром верхние штабисты любили заезжать к нам подхарчиться. Чаще прочих – тэбэшник Гудков, хотя, как мне думается, получали они там в штабе всякие кормовые и суточные. Но вот не нравилась ему чем-то

городская столовая, или, может быть, ресторан? А нас, рядовых бойцов, преследовала одна, но существенная беда – маленькие, неглубокие тарелочки и соответствующие порции. Без всякой добавки. Категорически! Всегда ссылались, что не все еще пообедали или поужинали. За завтраком же сам Васька засиживаться не позволял. Наедались, наверное, только те, кто (вроде Тишки) не дотягивали в собственном весе до 60 килограмм. Командор Саня (Киреев) с тоской вспоминал армейский рацион.

На БАМе всё обстояло наоборот. Один отряд в лагере, своя кухня, свои повара. Хлеба можно было взять, сколько влезет в обе руки, а каши – хоть миску, хоть тазик. (Я не сочиняю для красного словца. Однажды, после задержки на объекте, мы с В. Калитеевским съели за ужином на пару именно тазик манной каши. То есть всю кашу, которая еще оставалась на кухне.)

Но я опять повторяю – «каша», и опять повторяю – «манная». Белая – белая. Могу даже начертать наше меню – тоже белое. Завтрак – манка, обед – суп-лапша и на второе рис, ужин – макароны. Кто не понимает – поясню, просто макароны, на воде. Ирка Люлина, одна из поварих, на вопрос «С чем?» отвечала «С таким!» Любое цветное блюдо вызывало ураган эмоций: пшенка – радость, овсянка – наслаждение, гречка – восторг, гороховый суп – обалдение.

Пытались ли мы протестовать по такому существенному вопросу (по кормежке обычно проходило первое голосование на первом всеотрядном собрании)? Ведь питались-то не на дядины, а на собственные деньги. Можно сказать – «нет», хотя Змей однажды вспылил, увидев, как Гудкову наворотили полмиски мяса. Он предложил послать столовую к черту, затребовать деньги и питаться по своему соображению. Дело не пошло дальше разговоров, хотя Гудков не стал больше торопиться пообедать первым. И только, когда съехало пол-отряда, мы начали получать сносные порции, а некоторые даже прибавили в весе. Может быть, и наш Василий Федотыч Перин чему посодействовал, он же ведь теперь командовал и столовой.

На БАМе было проще, злодея знали в лицо. Все костерили завхоза Кулешова. Бамовцы-повторники вспоминали своего великолепного Юрина. Коля Иванченко вызывался пожертвовать собой – избить завхоза до полусмерти. Наконец, Кулешов надоел и Сорокину. В одночасье всё было решено...

Дела Кулешова принял Александр Юрьевич Шкаф. Каким он был завхозом? В общем, не хуже Кулешова, во всяком случае, не бывало случая, чтобы он в пьяном виде не мог на четвереньках взобраться к штабному вагончику. В рационе стало больше овощей, появилась картошка. А каша? Каша, она и есть каша, куда от нее денешься. Не говоря уже про макароны.

Вкратце скажу и про Воскресенск. Жили мы там в школе, занимая несколько классов. Спали в тепле, питались в городе. Правда, тамошнему школьному туалету некоторые из наших (никаких фамилий!) предпочли бы деревянный «скворечник» над выгребной ямой. А так, завтрак и обед в неоднократно руганных советских столовых ни разу ни у кого не вызвал никаких эксцессов. Конечно, поддерживало и то, что на воскресенья мы неоднократно ездили по домам.

Единственное, что было пущено на свободную инициативу – ужин. Кто-то ужинал побригадно, мы – комнатой. В нашей комнате преобладали «молодые» - не старше третьего курса. Старших только двое – Васильков и Пушкин. Но так как Пушкина скоро выгнали из отряда, засилье «молодых» стало категорически преобладающим. Васильков однако, неплохо с нами ужился. Заметно было, что он как-то мудрее, житейски опытнее; тем не менее, сам по себе, был он очень веселым парнем, мастером рассказывать анекдоты. По одному анекдоту про смелого, стойкого октябренька, лихо рассказанному Васильковым, мы стали называть его – Орленок. То есть самый старший получил прозвище, казалось по своей сущности предназначенное для самого молодого.

Наши Воскресенские ужины были пиршествами! Разумеется не по меню, а по сценарию и регламенту. Старт задал Саша Ильин (тот самый, сын прапорщика). Ведь первые день-два прошли почти в сухоматке по углам. И Ильин высказал (но его мало пока кто слушал), что надо делать запасы. И вот, в первый голодный вечер вдруг выложил свой запас – большую банку консервов. Ее сожрали под восторженный благодарный рёв. Урок усвоили. В понедельник притащили из дома, кто что смог. В основном – банки консервов, кроме них пирожки с булочками, вареной курятинки, рыбку сушеную, сало. Венцом благополучия стал электрический чайник Савушки (Вити Казакова).

Теперь по вечерам, после тяжелой работы, мы не спеша рассаживались и часа два под смех и оживленный трёп блаженно ужинали. Чайник кипел не переставая, запасов было на всю неделю.... То, что нам полагалось от бригад, в счет фондов на ужин, шло на тот же стол. Эти вольные беззаботные вечера сильно примиряли нас с нелегким климатом в отряде. Случалось, что к нам на чаёк заскакивали и из других комнат. Чаше всех бывал Еремей – кучерявый шофер Сашка Еременко, тоже большой шутник и балагур. Ужин наш его не интересовал, он четко ограничивался стаканом чая. Зато почесать языком – тут, как говорится, хлебом не корми.

Может быть, причина была в нашей молодости, может быть в сходстве еще не разошедшихся в разные стороны биографий, но за два месяца ежедневных вечеров у нас не наметилось ни одного конфликта или разногласия. Хотя никто не подстраивался под вкусы других: Савушка любил глотать косточки и грыз какую-нибудь весь вечер, Варила-Зимин запаривал свой густейший «чефир», Серик не признавал свинины и вздыхал по жеребятине.... Кто-то больше отмалчивался, как Черемных или Ильин, кто-то старался все время

быть на виду, как Кротик (Сашка Кротов). Васильков время от времени раздражался убойным анекдотом. И дружный хохот соединял всех в одну компанию. Даже резкий Емеля, заглянувший однажды на огонек, лишь слегка подшутил над уже сидевшим у нас Мальком.

Наверное, пора вообще рассказать, какие у нас были внутренние взаимоотношения. Ведь не только Емельяненко был задирист и конфликтен по натуре. Юрий Катков, мой бригадир, тоже отличался нелегким характером. Весьма необщителен и высокомерен был приятель Василькова Серега Трутнев. Встречались и такие мальчишки, которые не показывали клыки всем и каждому, но всегда держали их наготове. Я имею в виду, например, Вову Талдыкина или того же Кротика. Их мелкие подначки порой кололи больней откровенной грубости. И конечно, не нужно забывать про Намоконова, который вообще был Ряузов в миниатюре...

На Камазе в 75 году таких ребят тоже хватало. Юрий Картавенков, кем-то и почему-то названный Штирлицем (как ни странно, это прозвище сохранилось до пятого курса). Тот же любезный Ковалев, всегда помнящий, что он – человек непростого лица. Ехидный Ван, грубоватый Серега Баранов. Но особенно резок и непримирим был Змей, очень непростой по характеру Александр Змейков. Он, как оборотень, в течение получаса мог явиться и веселым, и злым, и снисходительным.

Из БАМовских в этом плане стоит упомянуть вспыльчивого Игоря Камалова (Кальмар), ершистого Витю Шулепова. И особенно неуживчивым характером отличался Кострома. С ним отказывались водить компанию и «старые» (БАМовцы 1975 года) и «новые».

Если посмотреть непредвзято, список получился невелик. Эти люди не определяли атмосферу, а только добавляли в нее раздражители, вроде таёжного гнуса или камазовской пыли. Тон задавали парни лояльные и компанейские, каких было бесспорное большинство. И посему не происходило самого отвратительного: заискивания слабых перед сильными и унижения сильными слабых. Именно таким запомнился мне общий дух стройотрядов.

Но это, конечно, не значит, что при разговорах все чопорно расшаркивались и раскланивались. Шутки, шуточки, подковырки сыпались на каждом шагу. Важно, что они никого не обижали, точнее сказать, не ранили самых чувствительных областей души. Даже прозвища сплошь и рядом походили на почетные звания, что-то вроде индейских «Быстроногий олень» или «Могучий буйвол». Не было ничего похожего на дворовые клички, скажем такие как Сопля, Фитиль, Вонючка, Лысый. И вообще, звучали прозвища чаще за глаза, обращаться друг к другу мы предпочитали по именам. Только отдельные лица в силу собственных пристрастий не давали некоторым прозвищам отмереть окончательно.

Самым большим любителем прозвищ был, несомненно, Володя Буканов. От него мало отставал Козловский, он даже пробовал их выдумывать. Выдумки эти, увы, почти не приживались. По моим наблюдениям, прозвище всегда возникает спонтанно, разом, как вовремя брошенная острота. Забывается даже, кто первый его произнес. Точнее, находится несколько претендентов. Гораздо чаще в повседневном обиходе бытуют усеченные или видоизмененные фамилии. Так было и у нас: не Козловский, а Козлевич; не Костромов, а Кострома; не Змейков, а Змей; не Буканов, а Букаш; не Еременко, а Еремей или Ерёма. Митронова, к примеру, не чаще называли Боцманом, чем просто Митрон. При этом случалось, что усекалась фамилия очень сильно: Крош из Крашенинникова, Ван из Вайнштейна.

Но был и уникальный случай, когда человек пытался сам ввести в обиход обращение к нему по прозвищу. Речь, конечно, все о том же Пушкине. Хоть Саша Пушкин и сам по себе был очень даровитый, безусловно даже талантливый (он прекрасно рисовал), но, похоже, хотел пользоваться не меньшим уважением, чем его великий тезка. Поэтому довольно быстро он сказал нам, что прежние приятели называли его Ас. Вообще-то многозначительное сочетание. Героическое; при этом одновременно вызывает ассоциации и с главным русским классиком, и с самой сильной картой в карточной колоде, и со скандинавскими богами.... Но нам оно почему-то не глянулось, а Ильин быстро парировал: «Давай, мы будем называть тебя – Пан». (То есть – Пушкин Александр Николаевич.) Трудно даже представить, какое кислое выражение появилось на лице Пушкина. Что до меня, так сама его фамилия заменяла любое прозвище.

Было, пожалуй, в названных мной отрядах единственное прозвище, которое приклеилось к его носителю намертво. Все знали, кто такой Гаврош, но мало кто помнил, что его имя Сергей Букреев. Правда, прозвище своё он принес в стройотряд из институтской группы, а, получил, кажется, еще в пионерском лагере. Конечно, трудно судить издалека. Может быть, мало кто вспомнит, что Поручика, например, звали Слава Лебедев. (К нему обращались только – «Поручик», и он не протестовал).

Как мы обращались друг к другу, я рассказал. А о чем мы говорили, только ли о еде? Конечно же, обо всем. Молодые, грамотные ребята, в подавляющем большинстве из хороших учеников, начитанные, со свежими мозгами. В разговоре могла вынырнуть любая тема, и повернуться любым ракурсом. Жаль только, что какой бы не был интересный разговор, кончался он очень быстро, одной и той же дежурной фразой: «Хватит п...дить, работать надо».

Опять цитата с усеченным словечком. Как вообще обстояло дело с матерщиной? Без всякого смака! Смешил меня в этом плане Тимофеев (не Тишка, а воскресенский). У него был пришепётывающий говорок с

легкой картавинкой. Казалось, что говорит дошкольник, а мат сыпался отборный. Так и в других отрядах. Матерились в основном те, кто привык, и то, чаще вводными добавками. Правда, все очень любили консультировать в тонкостях оборотов иностранцев. Тут уж старался каждый! Но зато, в присутствии девчонок мат изгонялся безоговорочно. Такие уж мы все-таки были джентельмены.

Вот и дошли до заветной темы. «За едой о женщинах». Так что и как у нас говорилось о женщинах? Всяко, и по всякому, но конечно в основном понаслышке. И общими фразами. Были, разумеется, некоторые из нас постарше и просто поопытнее, но как-то не находилось любителей делиться подробностями собственного опыта. Отделялись они снисходительным жестом, мол, о чем с салагами толковать. Но это о женщинах вообще. А если конкретно, о наших стройотрядовках, то я не помню случая, чтобы какой-нибудь из них за спиной перемывали кости. Или хвастались успехом. Все было чинненько-благородненько.

Итак, не будем о разговорах, перейдем к делам. Заранее оговорюсь, по этой деликатной теме рассказываю только то, что было общеизвестно. Что-то случайно увиденное, подслушанное или поведенное с глазу на глаз пусть остается в прошлом.

Проще всего начать с Воскресенска. Отряд был чисто мужской. Но случались и там эпизоды. Один – потешный. Однажды на Менделеевской откидывали лопатой от бордюра чернозем. В одном месте попался цветник, и цветы полетели в ту же кучку. А сами по себе яркие, в самом цвету. Володя Драницкий не выдержал, набрал большую охапку. И когда возвращались в школу, предлагал встречным девушкам букетики. Но они только шарахались.

Про другой – чуть-чуть подробнее. В той же школе, кроме МИХМовского, квартировал отряд студентов МГУ. Не знаю, каким специальностям их обучали в университете, но студентов вороватее я не встречал ни до, ни после. На окне в коридоре на ночь, или даже на час-другой нельзя было оставить ничего. Пропадало всё, вплоть до ржавого гвоздя или драной тряпки. Это уж, как говорится, к слову. Так вот, в отряде МГУ девушки были.

Однажды (подробности в 3-м разделе) нашей катковской бригаде потребовалась юбка. Как самого деликатного и вежливого послали Серика Сейдуманова. Юбку он принес, а вернуть было некогда, Серика задействовали в каком-то конкурсе. Понес возвращать юбку Коля Морозов. И всё! С тех пор его трудно было вытащить с той половины, один раз пришлось даже припугнуть Рязовым. Много шутили по этому поводу, особенно когда после банкета Морозов вызвался остаться в ликвидаторах (отряд МГУ еще не съехал).

На БАМе с женским полом было чуть-чуть побогаче: трое поваров да еще четверо стройотрядовок. Чуть не забыл восьмую – врача Лену. Разумеется, это добавляло разнообразия и пикантности в наши банкеты. Их ведь, кроме двух традиционных было еще три, опять-таки по числу дружественных стран.

Но банкеты банкетами, была и повседневная жизнь, так сказать – тихие вечера. Здесь выбор был ничтожный, а лучше сказать – никакой. Часть девчонок состояла (или считалась, это уже их дела) подругами вполне определенных парней, и потому числилась неприкосновенной. Остальные? Да, возникали парочки, сидевшие где-то в стороне, но сколько? Две-три. Основная масса волей-неволей оказывалась просто неохваченной, и отложила этот вопрос до лучших времен. Какого-то соперничества с мордобитием, когда девчонка вдруг переключивалась от одного парня к другому, я не помню.

Единственный, кто бегал за пределы отряда, на сторону, был официальный «бабник номер один» Гена Пудеев. Он даже не появился вовремя, когда приехала кассир с зарплатой. Деньги за него получал я – по комсомольскому билету, в затемненных заграничных очках Кароя Яноши. Тихо, но не без оснований, это место первого бабника оспаривал только Вова Маслов.

Камаз. Большой лагерь, целый студенческий городок, казалось, есть где разгуляться. Но девчонки, в подавляющем большинстве, были михмовские. Как-то мало было их (а то и вовсе не было) в чужих отрядах. Правда, в период квартирнерства одна-единственная из них тогда – Танечка из Щукинского – удостаивалась легким вниманием и нас, несчастных михмачей. Больше на предмет подкормиться щами или вермишелью с мясом. Щучкины дети, как люди духовные, уступали нам в аппетите – больше предпочитали «нашучиваться».

Где теперь эта Танечка? Стала ли артисткой с известной фамилией, или прожила спокойно, семейно – всё равно. Спасибо ей за доброе сердце. *(актриса и режиссер Татьяна Ронами, в те времена - Егорикина)*

Что говорить про наш Камазовский отряд? Были мы сырые, слабосильные первокурсники. Упахивались спервоначалу так, что главным удовольствием было – полежать в палатке после ужина. А чтобы бродить еще и после отбоя!? Змей как-то возмущался со злым смехом: «Да вы выйдите, поглядите! Бабы ищут! А эти – дрыхнут».

Но кто-то, по-моему Мак, приписывал нашу пассивность не только усталости. Утверждал, что добавляют нам бром. Даже нюхал вечером чашки с чаем и после чая. Не знаю! Чай, конечно, слегка отдавал веником и подметкой, но это могло быть и без всякого брома.

Три девчонки нашего отряда держались как-то особняком от нас. Были они чуток постарше, кроме того, одна считалась подругой Бориса Ицыгина. Про первый курс я уж и не говорю, но они и старших не особенно жаловали. Особенно почему-то не терпели Володьку Зинченко. А он был симпатичный

благжелательный парень, и при этом очень музыкальный. Не берусь судить, насколько хорошо он играл на гитаре, но когда что-то насвистывал, звучало это, как номер на сцене. Очень художественно.

Тем не менее, эти три подруги жили какой-то своей потаенной жизнью. Как-то на отрядной линейке получили они все три нагоняй за нарушение режима - не улеглись спать сразу после отбоя. Где и с кем они бродили, знают они сами, но никого из нашего отряда за аналогичное нарушение в тот раз не наказали.

Но что говорить про наш отряд. Рядом стояло еще два, и в них-то девчонок было много. Особенно в пятом – «Кентавре». Были там две подружки, к которым подбивались первое время Слава Акимов и Вова Козловский. У нас в разговорах эти девчонки фигурировали под условными именами Халтура и Опалубка. Тут в полный рост проявился уже цитированный мною тезис «С женщинами – о работе». Со смехом в отряде пережевывали чью-то информацию, что Акимыч рассказывает своей девчонке, как они вычерпывают Яму, а Козлевич – как отсыпает конус. Дела эти лирические в конце концов иссякли. Акимов уехал, Козловский переключился на повариху Ольгу Шашкину. Впоследствии они поженились.

Думаю, что очень характерен случай, известный мне с чужих слов, но из верного источника. Был организован вечер дружбы, говоря проще – танцы с участием местных девчонок с текстильной фабрики. Ездили на него от всех отрядов, в том числе и от нашего. Потом рассказывали, что всю ночь развернулся на этом вечере единственный михмовец – наш комиссар Генка. Сам же Гена Снисаренко потом громогласно заявлял (если передать его слова в мягкой форме), что ему было очень стыдно за собственный институт.

И напоследок, для завершения темы, маленький эпизод. У раздаточного окошка столовой – небольшой «хвост», бойцы получают обед. Змейков что-то бурчит, поторапливает поварих. Из-за его спины ехидный голос Татьяны Кириченко: «Осу! Осу ему положите!» (осы вьются над головами и тарелками). Змей бросает через плечо: «Я тебе сейчас эту осу в одно место положу». Судя по последующему, он имел в виду что-то невинное: за шиворот, либо на нос... Но Танька вдруг подначивает: «А туда мне не осу надо!» Змейков опешил, было видно, что чуть-чуть не сказал «А что?». Но успел собраться. Дальше цитата, подлинные слова матершинника и грубияна. Внимание, воспроизвожу: «О!! Достойный ответ, мадемуазель! Ну, так я... кхм, кхм ... скажу. Чувакам». Так вел себя с женщиной тот из нас, кто более других был способен на бесцеремонность и хамство.

А что говорить, например, про Колю Иванченко, который, вроде Змейкова, тоже уже отслужил армию, но был гораздо деликатнее. На БАМе, в карьере, он оказался на балластировке в одном звене с Натальей Блохиной. Мы обратили внимание на его оживленный разговор и прислушались. Оказывается, Коля объяснял, как понимали любовь древние римляне.

Часть 3. Развлечение.

Я уже описал, как мы работали и как жили. Ограничиться только этим было бы неправдой. Человек не может жить одной работой и отдыхом. Вернее, не желает. Даже в стройотряде, где на все остальное, казалось бы, совсем не предусмотрено времени. Жизнь намеренно упрощена, так лучше. На два летних месяца студент должен забыть, что он студент. Он теперь некий странный гибрид бродяги и работника.

Так какие развлечения у работника? Это хорошо известно: кино, вино и домино. А у бродяги? Мир вокруг и вечная песня. Заунывная в дороге, разухабистая на биваках. Если сложить всё вместе и взглядеться – неплохой набор для стройотрядовца.

Кино, наверное, оставим напоследок. А начнем с домино. И других настольных игр: шахматы, карты, нарды. Самые экзотические, разумеется, нарды, я кстати их впервые и увидел именно в стройотряде. На Камазе. Кто не верит, напоминаю, нашими соседями по лагерю были студенты-ереванцы. Частенько замечал, проходя мимо, доску с фишками, кубики. Бросают и как-то непонятно перекладывают с места на место фишки. Кстати, все воспоминания хранят яркий солнечный свет. То есть дело происходило в наш кратковременный обед, просто мимо армянских палаток шла наша дорожка к туалету.

Вот и всё про нарды. Игра была не наша, мы в нее не играли, а тем более после обеда. Армяне-то ведь работали не по-нашему. По-моему даже не больше восьми часов в день. Однако частенько, как стемнеет, грузились в машину и куда-то уезжали.

А вот карты были, несомненно, нашей игрой. Командиры запрещали ее категорически и безоговорочно, но никак не могли искоренить. На Камазе она, правда, обитала скромненько, чуть-чуть, иногда, зато на БАМе без нее не обходился ни один вечер. Среди Витькиных ребят ямной бригады тоже были любители (Акимов, Ван, Козлевич), но в основном играли в нашей букановской палатке.

Тут был один нюанс. Сорокин частенько устраивал налеты на палатки, но при этом не запрещал иностранцам играть в бридж. Считалось, что это что-то вроде шахмат. У них и карты были свои – сто листов со сфинксом на крапе. Поэтому, ближе к концу сезона, когда все немного друг к другу притерлись, этими иностранными картами играли в самый обыкновенный преферанс (до дурака правда не доходило). Но непременное условие, чтобы среди играющих сидел Карел или Анджей, а лучше оба сразу. Им тогда быстренько передавали карты и прятали пулю.

Но если чехам и полякам было не до нас, и играли обыкновенной советской колодой, то для прикрытия ставили шахматную доску с незаконченной партией. Я не помню, чтобы кто-то просто играл в шахматы более-менее регулярно. Леха Леонов с Анджеем Кжеминским играли однажды шахматами в шашки и крепко поспорили, что такое «брать за фуку». А чтобы именно в шахматы.... Если и были любители этой игры, они ничем себя не проявляли. Карты же, те всегда собирали кружок игроков и зрителей. На шухере никто не стоял, но сигнал опасности всегда успевали подать. И вот: двое склонились над шахматами, остальные смотрят на их игру.

Однажды Сорокин, который конечно отлично понимал всю эту маскировку, был не в духе. Он не заглянул как всегда, а вошел и встал прямо возле шахмат. Возникла немая сцена. Все ждут, что командир сейчас уйдет, а он не уходит. Тогда Соколов, сидящий за доской, схватил «своего» короля и махнул ход клеток через семь вперед. «Ты что! – воскликнул его «противник» Конопатов, - Это же король, а не дама!» Кто-то шикнул, кто-то втянул голову в плечи или отвел глаза. Сорокин постоял-постоял и вышел.

На Камазе такого не бывало, в карты там только поигрывали. А в домино резались! Откуда-то, то ли с кухни, то ли с медпункта раздобыли узкий длинный стол серого цвета. Он чудом уместился в проходе между двумя рядами кроватей. В дождливые неуютные вечера на этом столе забивали козла до самого отбоя. И я умею мало-мальски играть в домино только благодаря тому камазовскому опыту.

В самом начале БАМовского сезона, когда шло еще благоустройство лагеря, Маслов предложил мне изготовить такой столик. И мы на пару сделали его. Прочный, крепкий, из хорошей шпунтовки, чтобы выдержал любую доминошную баталию. Но народ нас не поддержал, мол, в палатке столик не нужен, а домино – не карты, можно и в столовой поиграть. Остался наш столик в столовой, поварахи приспособили его под гладку, поставили на него утюг, а потом перекочевал стол в уголок, и стоял на нем телевизор. Но и утюг рядом, места еще оставалось много.

В Воскресенске настольных игр от греха подальше не держали. Штаб был не на всгорке, а в соседнем классе, да и своих «подкомандиршиков» хватало. Так только, в электричке в выходной.

Но если на карты могли смотреть снисходительно и требовать лишь внешних приличий, с вином дело обстояло значительно строже. Тут уж не шутили по поводу дам и королей. Первое и непреложное правило распорядка – сухой закон. На Камазе так и было, тем более, что добиваться исполнения не составляло проблемы – сухой закон действовал и в Набережных Челнах. Спиртное можно было достать: портвейн в ресторане, водку в Елабуге, пиво – из бочки по субботам, но в свою тару.

Незабываемая картина: четыре отличные асфальтовые дороги окантовывают будущий городской квартал. Но пока этот обширный коричневый квадрат пуст – пыль и сухая трава. Нетронутый кусок степи, стоишь на одной дороге, а противоположная чуть-чуть угадывается по столбам, почти у горизонта. И в самом центре этого квадрата – желтая квасная бочка, маяк, видимый издали. К нему со всех сторон без всяких тропинок, кто ближе, кто дальше, подтягиваются темные фигурки. Очереди нет - расстояния большие, трудно, чтобы все скопились в одно время. А некоторые уже отходят. Когда подходят ближе, видно, что несут. Кто – прозрачный пакетик, кто – пакет, кто – целый полиэтиленовый мешок. Все эти мешки, мешочки налиты примерно на треть желтой, просвечивающей на солнце жидкостью, чуточку другого оттенка, чем сама бочка. Так пили пиво набережно-челнинцы.

Не больно захочется топтать к этой бочке за пивом. Поэтому, я даже не знаю, что за пиво было на Камазе. Не пробовал ни разу.

Слов нет, при таких трудностях и строгостях у нас на Камазе пили мало, и не сильно об этом распространялись. Даже в квартирьерах жили трезво. Было среди нас четыре медика, так они поражались. Квартирьеры – и никаких бутылок. Сами-то они знали, где найти, не хуже шукинец.

Про других молчу, так как конспирировались тщательно, но про себя могу сказать, что за всё лето 1975 года в стройотряде мне случилось выпить трижды. Это если не считать завершающего банкета (костерка со скромным шашлыком). И из трех - два раза совсем понемножку: портвейна на четверых с бригадой, и в другой раз полстаканчика крепленого. Угостили ребята из «Кентавра» по случаю выхода из больницы. Я сидел один, наш отряд, как всегда, еще не возвращался, а они уже приехали.

А та скандальная история, когда на линейке отчитывали проштрафившуюся троицу, произошла вернее всего потому, что Витька Фролов получил с посылкой бутылёк спирта. На местных ресурсах они бы наклюкаться не сумели. Зато сумели попасть на «доску почета». Очень жаль, что не найти теперь той фотографии, которая красовалась в МИХМе на одном из парадных стройотрядовских стендов. Стоит крупным планом Фролов, голова набок. Рядом – Тимонин, говорит сердито; еще дальше – Вася, набирает воздух, похоже, тоже собирается говорить. Теперь уже не узнать, кто и зачем это сфотографировал. И может быть на пленке остались, но только не попали на отпечатанную фотографию Змейков и Картавенков?

Если уж говорить всю правду, скажу и про одеколон. Было и такое. Затосковали ребята, слили в одну кружку три привезенных из дома пузырька: «Для мужчин», «Шипр» и «Русский лес», и на троих по два глоточка. Тут даже и Вася Перин больше обалдел, чем возмутился. Пустые пузырьки на тумбочке, рядом кружка, в палатке - вонища одеколоном. Он как глянул, плюнул и вышел. Никого не наказывали. Смесь эту наши шутники обозвали «Напиток ЗК» - Зори Камаза.

На БАМе для поправки сухого закона никакого портвейна не было. Только водка. Простая и лимонная. Или на западе – в Акульшете, или на востоке – в Гоголевке. Не смотри, что вокруг тайга, это ведь только на юг и на север! Так что, если кому очень надо, не удержишь – добудет.

Уже самое начало отряда проходило с шумом и с гамом. На самолет нам приказано было явиться не утром – к отлету, а загодя, до двенадцати, с последним вагоном метро. И ждать утра в аэропорту. В большинстве приехали бойцы навеселе. А что касается нас троих: Маслова, Иванченко и меня, мы явились еще часа на четыре раньше. И просидели их в ресторане аэропорта.

Было такое время, когда студент, получающий стипендию, мог себе позволить четыре часа в одном из самых дорогих ресторанов.

Чем-то мы напоминали персонажей Рязановского фильма «С легким паром», тогда еще не снятого, или может быть снятого, но еще не всеми поголовно увиденного. Важно рассуждали, не наш ли самолет подали, делали вид, что не помним, куда летим, в общем, дурачились. Но никуда не улетели, билеты были у командира, а мы, конечно, всё прекрасно помнили. Ведь нас ждал сам грандиозный БАМ! Правда, в конце концов, Иванченко не вылетел нашим рейсом и прибыл в отряд на сутки позже, но совсем по другой причине, не имеющей отношения к теме.

Не блистала постничеством и жизнь БАМовских квартирньеров. В отличие от нашего педантичного Шабда (на Камазе), у них начальствовал невоздержанный Саша Кулешов. Его не останавливало даже присутствие Карела Шимана, человека совсем другой питейной традиции. Остальные двое бойцов: отличник Калитеевский и двоечник Леонов – Шкаф – его тем более не могли смутить.

Но разговор с Кулешовым был еще впереди, а пока Сорокин загонял в рамки отряд. Как? В первые два дня никого не трогал, видимо рассчитав, что будет спущен главный запас наличности. Затем поговорил с несколькими бойцами с глазу на глаз. Каким образом он вел эти разговоры, не знаю, я такой беседы избежал. Но, судя по его стилю вообще, они были очень немногословны.

Всё вошло в норму. Основные усилия Сорокин прилагал к тому, чтобы не дать распуститься тем, кто еще мог себя сдерживать и контролировать. Приструнивал, но главным образом никому, ни под каким видом не давал аванса. Вовка Соколов попросил как-то денег на ботинки. Сорокин ответил: «Скажи Ферро, он тебе деревянные сделает». Ферро – Франтишек Равингер – смастерил себе для бани что-то вроде сабо - деревянный низ, пластиковая перепонка.

Меньше командир Витя возился с двумя друзьями из бригады Крашенинникова, еще двумя, от прежнего состава стройотряда и завхозиком (так выражался Карел). Эти-то и комкали всю картину. Но с другой стороны, ведь с кем-то вообще не было проблем, они не пили не потому, что нет, а потому, что – не надо (Ширенов, Радин и их круг). Иностранцы (за исключением Павла) тоже были люди в этом плане серьезные.

Все прочие время от времени, все же себе позволяли. Но если прикинуть, это случалось два-три раза за лето. Побалагуришь в лесочке, и бочком-краешком в лагерь. Чтобы кто-то затеял посиделки в палатке – редкий случай. В основном, если компания большая, а угощение так себе – на доньшке. Больше не требовалось. Для выплеска эмоций вполне хватало официальных отдушин: венгерский, польский, чешский вечер, день Строителя, фестиваль в Чуне. Если разобраться, даже много получается.

На все официальные отрядные банкеты привозилось по бочке пива. Не венгерского, не чешского – тайшетского. Ужасная кислая гадость. Не знаю, где уж его брали. Но пили. Морщились, кривились. После одного из таких банкетов человек десять неделю промаялись животами (кстати, среди них ни одного иностранца).

В Воскресенске первое питье водки в нашей бригаде Каткова состоялось по техническим причинам. Это был второй день работы. Необходимо было завершить забор, но полил сильный дождь. Юрка заказал одной из машин, подвозившей нам доски, три бутылки. Оприходовали их махом, и продолжали работу под дождем до самого вечера. Знал ли об этом Рязов, сказать не берусь. Но думаю, тут бы он не стал искать виноватых. А там, кто знает?

Дважды мы распили, опять же бригадой, по бутылке шампанского. Это были призы, один за футбол, второй – за конкурс агитбригад. Так что в Воскресенском отряде тоже активно пользовались методом официальных отдушин. Ведал ими комиссар Тимонин. С ним не боялись проводить переговоры, он имел вид и репутацию порядочного человека. И при этом, имеющего в штабе Рязова определенный вес. Он, например, мог разрешить отметить день рождения. В меру, но с бутылочкой. Так мы отмечали всей нашей комнатой день рождения Казакова. Замечу, между прочим, что наибольший восторг вызвала не бутылка, а огромный арбуз, внезапно водруженный на стол Кротиком, главным организатором праздника.

Ну и конечно – день Строителя! Он в официозном, казенном Воскресенском отряде прошел на удивление весело. На БАМе такие банкеты были поводом открыто пошуметь и побыстрее расползтись по компашкам, благо – места вокруг на природе сколько угодно.

А тут нет. Просторный спортивный зал все в той же школе. Столы большой буквой «Пэ». Вдоль «перекладчины» буквы расположился штаб с приспешниками, по «ножкам» - все остальные бойцы и непременно бригадами. Умеренное угощение, пиво. Не недоброй памяти тайшетское, а обыкновенное

бутылочное. Впрочем, тоже в то время дефицит, как почти все советское. Бутылки по две на каждого. Всё культурно, даже семейно, и выйти-добавить некуда.

Не успели усестись, как для разогрева запустили отрядную агитбригаду. Оказывается – была такая, хотя мы и не замечали. Несмотря на то, что из нашей комнаты в нее входили Кротик, Васильков и Зимин.

Они для начала изобразили в ироническом виде, более или менее похоже, каждую из бригад. Потом пошли достопримечательности Москвы. Мне больше всего запомнилась Останкинская башня. Четверо подняли стул, на котором стоял худой длинный Талдыкин, который еще задрал вверх обе руки. Дальше музыка, пока еще благопристойная. Кротик сыграл на своем баяне что-то космическое, передал баян Черемныху. Тот исполнил полонез Огинского.

Начались конкурсы, по человеку от бригады. Так как бригад было шесть, и не так много народу в каждой, отсидеться не удавалось никому. Мне досталось соревнование, взбесившее меня до самых печенок.

Тимонин выдал нам по удочке, на лески которых были нацеплены яблоки. Крупный, незрелый, дубовый Антон, который и так-то грызть не захочешь. Вгрызться в яблоко не удавалось, вокруг стоял хохот. Так и подмывало запустить эту удочку в какую-нибудь смеющуюся рожу. Но особенно я ненавидел в эту минуту неподатливое яблоко.

Видимо, эта зверская ненависть была написана на моем лице крупным планом. Зрители бушевали. Съел я яблоко только вторым, но под общие аплодисменты Тимонин вручил приз мне. Он объявил, что победитель – Зимин – сжульничал, а я проявил «волю к победе». Как видно, моя воля к победе выглядела со стороны очень уж смешно.

Мой приз состоял в пачке вафель, я без сожаления передал их в фонд бригады. Главный же из призов возвышался на столе прямо напротив Тимонина. Шампанское. За него надо было занять первое место в шуточном номере силами всей бригады. И вот тут, не знаю как кого, но меня удивил Катков.

Я и не подозревал в этом человеке других качеств, кроме умения хорошо работать и руководить бригадой. Был он невозмутим, серьезен, никогда не шутил, а тем более напевал, вообще говорил мало. Маленькая деталь: при первой встрече мне он представился как «Юрий», и до самого конца лета я так ни разу и не назвал его просто Юра. В общем, что-то вроде армейского старшины.

И вдруг этот самый Катков, не моргнув глазом, заявляет: «Изображаем бабу Ягу». Серик сбегал и добыл юбку. Юрка быстро и сжато изложил нам сценарий. Скоренько прорепетировали, времени было мало. Раза три он заставил нас пропеть припев финальной песни (куплет пела баба Яга – то есть сам наш строгий бригадир). Переоделись. Мы были пираты: Красный живот, Коловорот и пр. Ребята навязали какие-то тряпки на головы, Коля Морозов разделся по пояс. Относительно меня Катков потребовал только кепки. Моя знаменитая потрепанная кепка прошла со мной все три стройотряда. Нахлобучил я ее конечно «по-уркагански».

Вошли цепочкой, каждый по очереди сцапал со стола по бутылке, сели в кружок на полу. Стали изображать в воздухе игру в карты. Зрители вежливо подхихикивали, но ждали, чего же мы все-таки хотим. И вдруг сразу дружный гогот. Можно было не поднимать головы, и так всё было предельно ясно – в зал вошла баба. Баба яга. Но я все-таки глянул.

Изящная коричневая юбочка, под ней – здоровые волосатые ноги и корявые башмаки. Выше – желтая футболка, сильно оттопыренная шарами скомканных газет, причем слева больше, а справа меньше. И платочек, завязанный узко-узко. А из него торчат пышные коричневые усы.

По сути – номер был сделан. Разговор, якобы по телефону, Красного Живота с Ягой трудно разобрать, с мест неслись смешки и выкрики. Напрасно Коля Морозов в такт разговору поддёргивал голым животом, добавить к хохоту что-то еще было трудновато.

Но не в этом заключался весь фокус! По заказу бабы Яги пираты должны были добыть для нее «мальчика», то есть притащить кого-то из зрителей. И был сделан безошибочный выбор – мастер Олег. Тиньков Олег Васильевич, сотрудник 50 кафедры, стоял в штабе особняком. Все знали, что ему можно, как говорится, «навешать лапши на уши». Говоря проще, его не шибко волновали производственные отрядовские дела, он выполнял их без ажиотажа и фанатизма. Лишь бы побыстрее сделать и забыть. И чем дальше, тем больше среди бойцов ходили сплетни, о его кажущейся тупости и недалекости.

Поэтому, когда мы, обежав столы, с воплями выволокли солидного массивного Олега пред очи Яги, публика вопила уже не от потехи, а от восторга. Конкин громогласно высказал среди шума: «Опять Каткову шампанское».

Это было верное замечание. После нас вышли еще одни пираты : Шкаф, Трутнев, Карась и другие. Разодеты они были гораздо живописнее: тельняшки, пестрые платки, черные повязки. Шкаф нес разрисованную четвертную бутылищу. Ту самую бутылку из-под самогона, из-за которого Карась чуть не посыпался из отряда. Воспоминание было свежее, хохотали не меньше. И спели они гораздо лучше нас, мы все-таки напортачили с финальным куплетом. Слов нет, не будь бабы Яги, они заняли бы законное первое место.

Потом бригада ушла на свои места, Карась с гитарой остался. Спел «Если друг оказался вдруг». Но уже развернулось веселье и, с благословения Рязובה, следующей была песня про «столб с высоким

напряжением». После этого, еще парочку подобных. Банкет въехал в свое законное русло, но мы потихоньку отошли, унося шампанское.

Уединенный Воскресенский отряд представлял собой тот редкий случай, когда агитбригада использовалась преимущественно для внутреннего потребления. Камаз и тем более БАМ организовывали агитбригады для представительских задач. Это была одна из статей отчета отрядного комиссара. Как уж отчитывался на Камазе Гена Снисаренко, не имею данных. Могу предположить, что где-то провели разрешение на организацию общей агитбригады от всех трех «Камовских» отрядов сразу. И тем избавили Гену от хлопот, а Васю от нерационального применения рабочей силы. Допускаю даже, что это стоило каких-то дополнительных выплат в фонд Победы (был юбилейный 1975 год) или отчислений «за того парня». В нашей Формике «тем парнем» состоял – мы за это голосовали – Лукьянов, давший имя улице Лукьянова. Но кто знает, может быть, были и другие «парни». По крайней мере, шуток у нас между собой на этот предмет было множество. Если ничего нельзя было сделать – оставалось шутить.

А вот на БАМе агитбригада должна была быть в обязательном порядке, и она была. Иначе комиссару Мише Латыпову вряд ли удалось бы провести в полном блеске свою отчетность. (Я слышал, на него вообще была возложена отчетность перед верхними штабами. По крайней мере, он вечно сидел с какими-то бумагами, а на путях, стройке и в карьере не побывал ни разу.)

По чистой случайности мне пришлось один раз почти присутствовать при коллективном написании сценария будущего выступления агитбригады. В своё ночное дежурство. Я забыл упомянуть, что и на Камазе и на БАМе на каждую ночь назначались по два бойца. Они должны были оберегать лагерь, а на БАМе еще под утро заправлять водой рукомойники. Есть рассказы студентов из других ВУЗов, что у них за такую ночь полагалось спать днем, у кого – весь день, у кого – до обеда. В МИХМовских отрядах дежурный после ночи без вопросов выходил на работу.

Вот таким дежурным и сидел я в уголке столовой, а агитбригадчики кучковались за крайним обеденным столом. Заправлял Зейгерман. Он, судя по манерам, был единственным профессиональным агитбригадовцем. К тому же, по договоренности с командиром, скоро собирался уезжать. Поэтому гнал, торопил, осаживал посторонние разговоры. И вел запись с редактурой. Остальные выкидывали в воздух варианты сценок, реплик, а что попадало на бумагу, знал один Саня. Активно сочиняли – Бубликова, Маслов, Козловский. Юрка Трахман больше помалкивал. Костромов бурчал и дулся. А если и высказывался, то с такой презрительной интонацией непонятого мастера, что все молча дожидались, пока он договорит, и как ни в чем не бывало, продолжали.

Насколько я понял, Кострома стоял за то, чтобы не париться, а взять уже известные номера и на этом успокоиться. По-моему Трахман в чем-то был с ним согласен. Остальные хотели сотворить что-то свое. Через неделю, когда агитбригадчики делали предфестивальную прокатку своего творения перед отрядом, итог обозначился сам собой. Кострома вышел из агитбригады, Трахман был задействован минимально: развертывание титров-плакатов и маленький эпизодик.

Зато появились новые лица: Леха Леонов, Гаврош и Ван. Ван держался неплохо, не усердствовал, сохранил присущую ему в жизни иронию. А вот большой театрал Леонов (он любил вести разговоры о театре) вообразил себя актером. Он дергался, выкрикивал, строил разные гримасы. Наверное, хотел каким-то образом вызвать смех.

Выступление изображало в миниатюре один день одного строительного отряда. Маслов и Козлевич, как два самых длинных, играли большей частью прорабов. Танька Бубликова – все женские роли, главное для нее было – улыбочка на личике, кокетливые движения. Но убойным гвоздем программы стал Гаврош.

Ему не нужно было изображать писклявые нотки в голосе, румяную мордочку, фигуру неуклюжего медвежонка, катающегося, как колобок. Всё это у него было. Но когда он появился в непомерной телогрейке, капитанской фуражке с блестящим козырьком (телогрейка была Калитеевского, фуражка – Буканова), повернулся спиной, открыв белую надпись «Бригадир», все просто легли от хохота. И хохотали не переставая. Гаврош расталкивал спящих, докладывал с серьезным видом на линейке, изображал увальня-шофера с басовитым говорком и снова самодура-бригадира – все было классно. В Чуне ребята получили приз за оригинальность, а Гаврош на следующий год уехал в Германию с обменной группой.

Вернусь к Камазу. Что можно сказать о той, единой для трех отрядов, агитбригаде? Какое впечатление оставило их выступление вокруг лагерного монумента с тачкой? В целом неплохое, но там потрудился очень умелый сценарист. С опытом и фантазией. И, честно признаться, мы смотрели их вполглаза, ожидали последующего выступления шукинцев. Уж те-то специалисты, должны поразить.

Что ж, шукинцев хорошо приняли, горячо аплодировали, но, боюсь, все рассчитывали на что-то большее. Да, они были раскованней, подвижней, не переигрывали. А их диалоги... Оценки, разумеется, ставить не нам, но я не увидел разницы с любой самодеятельностью. Бывало, какие-нибудь прирожденные рассказчики или анекдотчики из обычных, завораживали сильнее. И конечно единственный, кто безусловно покори нас, был Меншиков, тогда еще студент, а не артист. Он всего-навсего прочел стихи, причем патристические, год-то был – 30летие Победы. Но все скептики прониклись, присмирели и слушали. А потом громко хлопали...

А как же наши, из первого линейного, потенциальные агитбригадовцы? Те же Ван, Козлевич, Змейков, Зинченко? Их нутро все же пересилило! Во второй половине сезона, в августе, уже темными холодными вечерами начались дикие концерты для самих себя. Гитар в отряде было не меньше пяти, «гитаристов» значительно больше.

Слегка поигрывал Юрка Воронов, бренчал Козлевич. Иногда брал гитару Шавкат Ибрагимов. Играли Зинченко, Маслов, совсем немного Борька Ицыгин. Всегда тихо улыбающийся Серега Иванов втихомолку считал себе лучшим гитаристом. Нестройные аккорды выдавала Бардина Вера, но только если никто не мешает. Коля Иванченко, вечно морщащийся при попытках настроить хоть какую-то из гитар, наконец успокаивался и начинал аккомпанировать сам себе. Он любил не играть, а петь. А Змейков, наоборот, пел лишь когда разохотится, а больше что-то наигрывал. И вдруг струны из его угла начинали громко и отчетливо отчеканивать «Интернационал». Это была его любимая музыкальная шутка.

Певцом и гитаристом был и комиссар Генка Снисаренко, но у него имелся свой репертуар и своя камерная аудитория.

Если не считать дня приезда, то сначала гитары звучали мало. Чаще их корпуса клали на колени вместо конторок, чтобы писать письма домой. Маслов все рвался собрать трио со Змеем и Иванченко. Иногда они пробовали сыграть втроем, но больше так : или от скуки, или под ЗК.

Что-то переменялось после эпидемии и массового отъезда. Я не мог наблюдать, как происходила эта перемена: выйдя из больницы, застал уже другой отряд. То ли потому, что все втянулись, и стало легче, а может быть перемешались бригады, и все лучше узнали друг друга. Но бойцы теперь не дичились, не замыкались. По дороге на работу звучали шутки на весь автобус, предназначенные для всех. Со мной, как со своим, заговаривали те, кто раньше только удивленно косился.

Но самое необычное происходило после ужина. Все сидели не в палатках, а возле одной из них. Под навесом на скамеечке, и вокруг. Тут же была парочка гитар. Начинали тихо, кто-нибудь один. Потом умолкал, пел и играл второй. Доходило до песни с припевом, и тут же к гитаре проталкивался Гаврош. Он никого не стеснялся, и припев шел уже во всю глотку. И чем больше темнело, тем больше присоединялось. Начиналось уже не пение, а орание. Кто громче!

Когда уставали, снова шло что-то тихое. Чаще новенькое. Тут же впервые прошла песня о Яме, куплеты на мотив «Тихо в лесу». Но недолго. Снова хором и снова в голос. И так из вечера в вечер.

Ни во втором, ни в пятом отряде подобного не водилось. Они вели себя значительно тише, скрытней. А орать так, чтобы разносилось по всей округе! Конечно, орали только до отбоя. Но мы, по простоте, гордились и этим. Своей кажущейся отчаянностью. Пошучивали: «Когда первый отряд гуляет, все должны по стойке смирно стоять!». А однажды шел от штабного вагончика Витька Калитеевский. На фоне темнеющего неба его не признали. Кто-то громким шепотом бросил в толпу: «Тимонин!». Оранье захлебнулось на полуслове, и через секунду все были в палатках по своим кроватям.

На следующий вечер, при очередной спевке со смехом об этом вспоминали. Что у нас тогда пели? Почти из вечера в вечер одно и то же, лишь бы больше шума. Вот неполный, но характерный список: старый дом, медузы подплывали, алера-опа, отрада в высоком терему, фонарики, свищет соловей в кустах сирени, на Перовском на базаре. Но почему-то вместо Перовского у нас получалось: «На Лукьяновском базаре». Может быть, в честь улицы Лукьянова?

Ни на БАМе, ни в Воскресенске такого коллективного пения я больше не встречал. БАМовский отряд вообще не отличался пристрастием к музыкальности. На гитарах играли мало, и, как правило, те же: Иванченко, Маслов. Главном же музыкантом старых БАМовцев был Кострома. От него мы услышали песню врача Лены про Малый БАМ. Он пытался сделать ее как бы отрядной, но тщетно.

Пробел по части пения восполнялся репродуктором – «колокольчиком». Не постоянно, но в лагере спервоначалу звучали магнитофонные записи. Модные иностранные быстро прискучили, большей частью «колокольчик» потом молчал, а если кто-то иногда и ставил, то заезженные советские. Лишь бы по-русски. Конечно, репродуктор использовался и для объявления распоряжений командира, причем напрямую из штаба. Иногда в вагончике забывали выключить микрофон, в воздух вдруг проскакивали обрывки фраз. А один раз и вообще непотребное: «Саша, если не умеешь пить, не пей!».

Чуть выше я коснулся, так сказать, нашего репертуара. Как не покажется это невероятным, он в львиной доле был обычным советским. То есть пели то, что можно было услышать и в официальной трансляции. Конечно, отбирали. Не жаловали очень уж советские произведения типа «Малой Земли». По большей части брали из кинофильмов. Там проскакивали цензура более вольные варианты. Под маркой песен врага или отрицательного персонажа. Не проходили у нас и блатные, тюремного толка. На БАМе пел их иногда Женька Марютин – «сын полка» - трудновоспитуемый подросток из профтехучилища. Его не пресекали, но морщились и старались не слушать.

А бардовской неофициальной песни или самодетельной студенческой было мало. Всё это пришло потом, на старших курсах. К концу института, в компаниях они вытеснили всё остальное. Мы же, стройотрядовцы 75, 76 года стояли только в начале пути.

Вспоминаю, как я, по сути, вчерашний школьник, отправился на Камаз квартирьером. Сели в электричку до Быкова. Ехали сразу квартирьеры нескольких камазовских отрядов. И вот где-то в соседнем купе один из старших парней заиграл на гитаре и запел. Песня абсолютно незнакомая, причем незнакомы и тематика, и стиль. Что-то: «Махнул рукой привычный машинист... заиграл задорный гитарист... на дровах отплясывает твист». За ней вторая, дальше, дальше... Он пел, не переставая, всю дорогу. Таких песен я раньше не слышал совсем и не подозревал, что они существуют. Что я знал? Трансляции по радио, народные – с пластинок и неприличные дворовые частушки. А тут! Слова чистые, рифмы на месте, никакой грубой похабщины, и в то же время – ново, свежо, необычно. Я даже не пытался запоминать, так много было этих песен. Одна все-таки запала, песня иностранного легиона (Из Сахары дует ветер...). Есть у меня смутное подозрение, что был это всё тот же знаменитый Лёлик.

Видел я потом этого парня при отъезде с Камаза, возле нашего эшелона. Он опять был с гитарой, что-то пел. И к моему неудовольствию запомнившуюся мне песню переиначивал: «Мы выходим на рассвете, над Камазом дует ветер, и груженный наш завхоз наперерез».

Второй контакт со старшекурсниками по необычным песням произошел буквально через день. С нами в «Каме» было четыре медика, поехавших в МИХМовские отряды. Двоих, Козицкого и Алейникова, я уже упоминал. Кроме них были: бородатенький Валера Ронами и мощный Володя Суслин. Суслин играл на гитаре так, что его можно было просто сидеть и слушать. Музыку без всяких песен. Но он еще и пел (и кстати, божественно рассказывал анекдоты). Вот тут мы и услышали и бардовскую песню, и студенческий фольклор. Правда, насквозь медицинский («В аорте гул, и жидкий стул», «мой халатик в чемодане, стетоскоп всегда в кармане»).

Ничем равноценным ответить мы – желторотые первокурсники не могли. Единственно, Валерка тэкашник вытащил откуда-то (может быть, и сочинил, но скромно умолчал) песню о Камазе. И когда медики спели институтский гимн (В глуши, в таёжном лазарете, Ты вспомнишь курс веселый свой: первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой) Шабад – комиссар второго линейного и начальник квартирьеров – буквально взмолился: «Кто знает Улицу Лукьянова?». А мы о такой даже не слыхали.

Но приехали отряды, квартирьерская идиллия кончилась. Что-то подобное зазвучало уже значительно позже: на картошке, на практиках.

Под занавес музыкальной темы о Воскресенском отряде. В нашей комнате, кроме художника (Пушкин) и поэта (Зимин), был и музыкант – Саша Кротов. Гитара появилась с первого дня, скоро он привез и баян. Практически он и играл, и пел понемногу каждый вечер. Подпевать ему не требовалось, даже возбранялось. Кротик говорил, что чуть было не стал учиться в Гнесиновском училище, но не хватило какой-то малости по организационной части.

Вполне можно было поверить, слушая его игру и пение. Например, Черемных мог сыграть на баяне полонез Огинского, но у него он звучал ученически: со сбоями и перескоками. Шепотом, чтобы не обидеть парня, мы говорили, что это – полонез Ногинского. (Ногинск – райцентр в Московской области. Черемных был из г. Железнодорожного, того же направления. К слову, Кротик с той же стороны – из Орехова-Зуева). И вот как-то, в комнате и было-то человека три, Кротов присел и спокойно проиграл тот же полонез. Видимо для себя, в первый и последний раз. Это было чисто, как запись на радио.

Так обстояло дело с хорошей музыкой. Но конечно, Казаков мог, дурачась, пропеть под гитару: «Пошел я как-то в баньку. В ней не было воды». А однажды мы, на пару со Шкафом, совсем уже для потехи, протараторили песенку о «купе нетесном, четырехместном».

Между прочим, хорошо играл на баяне командир «Магистрала 76» Виктор Сорокин, очень музыкально пел мастер Рустэм. Но такие вещи узнаются только на завершающем банкете. К слову сказать, не обделен был слухом и голосом и сам Рязунов. Мы убедились в этом во время окончательного отъезда из отряда в вагоне последней электрички.

О пении и музицировании я рассказал достаточно. Чем еще тешили свою душу стройотрядовцы. На БАМе – экзотикой сибирской природы. Начиналось с бурундучков, их было множество, но до ловли, как предлагали некоторые, не дошло. Просто было здорово: чуть отошел в лес, и вот уже мелькнул настоящий живой зверек. Поднимались мы и на сопку, оглядывали окрестности – такие же лесистые сопки.

Забирались в болото. Коля Иванченко всё толковал, как ему хочется поймать змею, и не гадюку, а подиковиннее. За эти разговоры его и самого за глаза поддразнивали Щитомордником. Но не всерьез, зная его ранимую натуру. А из болота мы однажды с Масловым еле выбрались. Хорошо, наткнулись на какую-то мощеную плахами дорогу. Как шпалы, но зеленые от пышного мха, и некоторые уже провалились в топь. В тот раз мы действительно понюхали дух тайги – сумрачный, мшистый и болотный.

Речка Байроновка была хороша только для живописца – и быстрая, и извилистая, и чистая. Купаться же в ней было нереально, не успеешь влезть – зачленеешь. И с рыбалкой хило, кто пробовал – приходил пустой. Про хариуса (которого Трахман называл нотариус) лишь разговоры ходили. Зато однажды добрались мы до озера. Вот это было другое дело! И красотища – широкая зеркальная гладь в крутых темно-зеленых берегах, небо где-то высоко над головой, а вся его синева – здесь. И купание. Даже узенькая лодочка,

местная индейская пирога. На берегу этого озера старики-БАМовцы показали нам кедр, маленький в полтора человеческих роста, но единственный, виденный мной своими глазами.

Так что шишек кедровых нам добыть не пришлось. Зато ягод было! А особенно – так смородины. В диком лесу натуральные кусты, которые нам только в саду встречать приходилось. С грибами хуже. Только после дождичка, и бери сразу. День-два – перерастут, а на новые не надейся. Всё-таки несколько раз баловали себя грибочками.

На комаров и слепней мы быстро перестали обращать внимание. Мошка вот, та донимала. Ходили покусанные, кто с губой, кто с глазом. А на руки Верочки жутко было смотреть, сплошь в красных точках, как варёжки. Удостоился внимания и энцефалитный клещ. Вовка Копылов отловил его где-то в лесу и принес в лагерь – показать всем. Дивились на чудо-зверя, пока Лена не отобрала и уничтожила. Нам – санинструкторам (мне, Серокулову и Бубликовой) было сделано строгое внушение, чтобы докладывали вовремя о подобных случаях.

Про Воскресенск не говорю, но и на Камазе с природой, по сравнению с Сибирью было бедновато. Степь, мелкие сухие перелески. Однажды выехали отрядом на левацкий объект – расчистить делянку в лесу. И что за лес – частая хилая поросль. Тюкали топорами, но при желании можно было бы и руками ломать.... Одно только и стоило внимания – Кама. Располагалась у самого лагеря, под боком, и широкая была здесь, подперта чуть ниже лежащей плотиной. Несколько раз за лето купались: освежиться, грязь смыть, но все равно в радость. С криками, гиками, подпрыгиванием. И нагишом. Маленький мальчик спросил про нас у родителей на берегу: «Кто это такие?». Ответ получил: «Пираты». Врач Люба, хоть и должна была по инструкции присутствовать при наших купаниях, благоразумно не появлялась.

Осталось, как я и говорил в начале, рассказать про кино, а равным образом и другие массово-культурные мероприятия. Были и такие. Прежде всего – народное гуляние на Сабантуйском поле. Это фактически у самого лагеря. Когда мы ехали квартирьерами на автобусе в лагерь, увидели это поле сразу после Сабантуя, того самого – народного татарского праздника. Казалось, что оно в снегу, столько валялось бумаги, коробок, ящиков. «Вон как здесь гуляют!» - воскликнул Шабад. Шофер, везший нас, не понял, что мы увидели такого особенного. Потом заметил вдали парочку и истолковал по-своему: «Да-да! Девчонка здесь много».

Пласты мусора на этом поле естественным путем постепенно уменьшались и рассеивались. Но накануне нового гуляния мы вышли с длинными стальными прутами – очистить его окончательно. Тоже левая работа. Для нас уже она была праздником – вместо лопаты ходи себе с прутиком целую субботу. И на следующий день, с самого с утра, громогласная музыка: «Такого нигде нет. Только на Каме. В Набережных Челнах!». Такая вот песня.

Кроме шашлыков и пива намечались там для народа всякие развлечения: народные ансамбли, приземление парашютистов. Но мы выбрали самое интересное – собачья выставка. Соревновались там овчарки, колли и бульдожки (боксеры). Одна самая свирепая и беспокойная бульдожка звалась Сафо. Мы, конечно, никто не знали, что это имя античной поэтессы, и вообще женское имя. Громче всех орал Мак: «Сафона, Сафона давайте! Он сейчас всех порвет!». Но победила маленькая рыженькая колли.

Трудно сказать, к чему следует отнести другое Камазовское мероприятие – к общественной нагрузке или своеобразному развлечению. Я имею в виду ночное факельное шествие. Каким политическим событиям оно было посвящено, не помню напрочь. Не намного отступлю от истины, если скажу, что нас особо не посвящали в эти тонкости. Помнится, было так: «Сегодня заканчиваем раньше, бросай работу и в автобус». А в лагере: быстренько ужинайте, переоденьтесь и едем. Поэтому не буду сочинять, передам чисто свои собственные впечатления.

Стояла черная ночь. Факела светились, но плохо освещали. Хорошо были видны нижние половины человеческих фигур, а на голову и плечи падали размытые тени. Разговор среди нас шел негромкий, общее монотонное бурчание.

Были там не одни МИХМовцы, медики из той же нашей «Камы» построились в колонну и прошли мимо нас. Впереди колонны, как на демонстрации, они несли что-то. Плоское сооружение сложной формы из кругов и прямоугольников. Вероятно, герб института. Они и выкрикивали какие-то здравицы в свою пользу. По-моему так: «Самый лучший ВУЗ земли – наш московский мед МОЛГМИ». Во всяком случае «земли» и «МОЛГМИ» - точно.

Мне нравилась необычность обстановки, но вероятно и спать очень хотелось. Мешал факел, немела рука. Похоже на то, что веки, как у Вия, не хотели подниматься выше кончика собственного носа. Осталось устойчивое видение в памяти, это когда мы уже шли в колонне – в ряду впереди меня три дружка: Пучок, Баранов и Мак. Худенький Баранов между двумя коренастыми. Шли они трое в ногу, одновременно вздергивали факелы и что-то выкрикивали в такт. Резкое, похожее на отрывистые немецкие слова. (Пучок, насколько я помню, изучал немецкий, по крайней мере английского точно не знал). Лучше всех мне запомнился именно Баранов: в своей выцветшей дожелта куртке и брезентовых штанах, со следами ниток ушивки на заднице.

Но вот наша колонна встала. Что там впереди, я не видел, да и видно не было. Какое-то светящееся, движущееся, гудящее марево. И только время от времени рев. Волной докатывается до нас, и мы тоже ревом. В одну букву «Э-э-э!» или «О-о-о!». Некоторые при этом поддерживают вверх факела.

Где потом тушили факела, тыкали их в песок, сказать трудно. То ли тут же, где стояли, то ли немного отойдя. Во всяком случае – недалеко. И едучи в автобусе назад, никто ничего не обсуждал, не делился впечатлениями, все до одного спали, как убитые. Генка потом бурчал: «Ничего им не нужно! Только пожрать, поспать да в баньку сходить».

БАМ не мог похвастать массовыми мероприятиями, проводить их было некому и не с кем. Единственное событие подобного рода – студенческий фестиваль в Чуне. На который я благополучно не попал. А с чужих слов недолго и наврать. Но все-таки кое-куда ехать мне пришлось – на День Строителя в СМП. Кроме агитбригад туда везли и тех, кто должен был получать почетные грамоты. Там, кроме нашей агитбригады, посмотрел я выступление от соседнего отряда «Монолит»: Отеллу и другие, как говорил Трахман, старые МИХМовские хохмы. Мужики в зале вежливо хлопали, хохотали несколько мальчишешкольников. Эти «старые хохмы» я видел тогда в первый и последний раз. («Отелло» Брозголя, Ляндреса и Рогачевского в кинешемских лагерях не имело с этим ничего общего).

Но вот мы встали в кучку, изготовившись к получению грамот. Рядом со мной оказался Митронов, приехавший раньше. Он вытаращил глаза, увидев меня при параде. До этого я не вылезал из черной спецовки, обтрепанной кепки и кирзовых сапог. (Крош даже как-то пошутил в бане, что не видит на мне кепки). Саша скрупулезно принялся изучать все значки у меня на груди, а было их немало. Наконец он понял, что это же его собственная куртка...

Такова была воля наших отрядных командиров. Когда они увидели на мне мою парадную бойцовку – чистую, глаженную, непотрепанную, но без единой надписи, наклейки, без единого значка и даже без фирменной рукавной нашивки, на меня молча напялили куртку Боцмана. У него их было две. Одну, поскромнее, надел сам Митронов, а вторую – шикарную, нарядную, привез на своих плечах я. До сих пор надеюсь, смиренно, но с сомнением, что Саша на меня не обиделся. Ведь я совершил почти святотатство.

Куртка для бойца стройотряда была не просто размалеванной штормовкой. Отношение к ней было, как к своему личному боевому знамени.

Вкратце скажу, почему я ходил без надписей и нашивок, и тем посрамил даже Радина, гордившегося своей принципиально девственной курточкой. Но у него все-таки была МИХМовская нашивка на рукаве!

Нашивку я не получил, так как выдавали их в эшелоне, а я уехал раньше, квартирьером, причем скоропалительно (сегодня сказали, завтра поехал). А потом их не было, Васька посетовал, что у него всё штаб потаскал. Так и нет ее в моей маленькой коллекции. Есть более поздняя – желто-синяя и несколько других: армянская с их вычурными буквами, особая – Воскресенского отряда, венгерская – подарок Кароя и Ласло.... А вот старой МИХМовской – красно-черно-желтой – увы нет. Как и значка.

Все, что я носил на куртке летом 75 года в официальные дни – сразу три комсомольских значка с надписью «Ударник». Кто-то из верхних увидев только два, намекнул мне, что такое недопустимо, это знак различия и должен быть любой, хоть «ударник», хоть «ленинский зачет», но один. Тогда я прицепил третий. (Один мне вручил, как квартирьеру, комиссар 2 линейного Шабад, второй выдал свой комиссар Генка при награждении лучших бойцов бригад, третий подарил командир 5 линейного Родион Верховомов в память о совместных мытарствах в больнице во время дизентерии).

И со спинными надписями на Камазе в нашей первой линейной Формике всё было пущено на самотек. Делали каждый себе, самое большое – себе и приятелю. Тишка, скажем, разрисовывал куртку Сявику (Савченкову), Змейков – Кураченкову. Кто-то срисовывал с Камазовского значка – автомобиль, вид спереди; по кругу надпись. Кто-то изготовил шаблон на более упрощенный вариант – надпись в контуре автомобиля. Ограничивались и просто надписью – Камаз 75. Каждый четвертый разрисовывал куртку уже дома. Маслов, например, сделал свехоригинальную надпись: Яр-Челны. (Набережные Челны по-татарски называются Яр Чаллы). Так что в эшелоне мы выглядели скромненько. Другие отряды - вспомню, аж рябит в глазах! Сплошь оранжевые рисунки, как с одного станка - автомобиль с фургоном во всю спину в три четверти оборота.

Почему же я ничего не написал на своей куртке? По причинам, которые сейчас кажутся отговоркой. Еще в квартирьерах я решил, что напишу только буквы без всякого рисунка. Перед глазами стояла гордо-скромная куртка Валерки Ронами с четырьмя строчками. Были там и Сибирь, и Сахалин, и Карелия. Но когда разрисовывали куртки, выдали нам только три краски. Красную я никогда не любил, она и сейчас кажется мне грубой, даже алая как кровь. Белая и голубая не сочетались с зеленью куртки. И я решил: сделаю дома в серо-серебристых тонах. А дома, перенесясь в другую обстановку..., какими-то далекими и нереальными показались мне наши стройотрядовские традиции.

Но я отвлекся в сторону от темы зрелищ. Кино, самое доступное зрелище в обыденной жизни, в стройотряде переместилось на последнее место. На Камазе фильмов мы не смотрели, зато в них снимались. Приехала в лагерь кино съемочная бригада, кино называлось или «Дорога», или «В дороге», или «В дорогу». Запустили сцену танцев. Втормедовский ансамбль «Сказочники» гнал танцевальную музыку, и

студенты плотной толпой танцевали. Дубля три или четыре прокрутили, все кто думал, что попали в кадр, радовались от всей души. Видели потом этот фильм по телевизору. Крупным планом музыканты, затем танцующие – совершенно темная масса. И мелькнула одна-единственная девчонка, которую можно было успеть разобрать. Какая-то стройотрядовка из второго линейного, проходившая у нас в разговорах под условным прозвищем «Белокурая Жози».

На БАМе в отрядной столовой стоял телевизор. По системе программ «Орбита», один и тот же фильм можно было посмотреть в течение дня через каждые три часа. Так сначала и делали. Шел четырехсерийный фильм «Наследники» о строительстве химкомбината и всяких махинациях вокруг стройки. Кто-то посмотрел, и созвал всех, кто в этот момент был в лагере, посмотреть, какую лажу показывают.

Затем смотрели еще раз с шумными комментариями. Активнее всех возмущался Сын (Целиков), шумел громче телевизора. Серию просмотрели, половина зрителей разошлась, в том числе и Целиков. Те, кто остался смотреть по третьему разу, почувствовали скуку. «Без Сына смотреть неинтересно», - сказал Костромов и с общего согласия выключил телевизор.

Конечно, смотрели и «Семнадцать мгновений весны». То и дело пробегал шепоток: «Мюллер, Мюллер!». «За что вы все так его любите?» - недоумевал Карел Шиман.

В Воскресенске телевизора не было, но в городе, разумеется, работали кинотеатры. Однажды, попутно к какому-то разговору, Тимонин заметил, что если кто желает сходить в кино – деньги на это выделяются. В первый раз пошло человек пятнадцать, шла картина «Ты мне, я тебе». День-другой спустя сходили на «Картуша», уже впятером. Еще через несколько дней «Стрелы Робин Гуда» смотрели мы вдвоем – я и Пушкин. Потом только попутно поглядывали на афишу и прикидывали, идти на это кино или нет. А там и на афишу перестали обращать внимания. Как-то мы шли с Калитеевским по коридору школы, и мелькнула мысль, может быть в кино ходим. На подоконнике сидел Емельяненко, чем-то сильно недовольный. Кажется, они проиграли в баскетбол и упустили шампанское. Но он кипел не столько из-за бутылки, с его характером было невыносимо само унижение проигравшего. «Володька, не знаешь, какой сегодня фильм?» - спросил я попросту. Он зло сверкнул глазами и процедил: «Путешествие слона по ж-пе таракана». Я еле-еле сдержался, сделал три шага, свернул за угол и захохотал в голос. Больше мы про кино не вспоминали.

Часть 4. Деньги

Деньги... Длинный рубль, сказочные заработки. Вожденная тысяча, которую можно заработать за лето. Для новобранцев такие рассказы заменяли точные сведения. Вернувшиеся из стройотрядов скорее склонны были завышать цифру собственного заработка, чем занижать или приводить точно. Над особо завравшимися смеялись, но в чудодейственность сибирской земли верили. И потому смотрели на ближние отряды как на незаслуженное наказание, или первую ступень, пройдя которую, получишь право на золотой край. И только в отряде я узнал, что есть еще таинственный Воскресенск, который может быть лучше Сибири.

Рассказы рассказами, но, приехав в отряд, каждый вдруг осознавал, что на самом деле никто ему ничего не обещал. А уж тем более никто не мог по первым дням в стройотряде оценить «на глазок» светит здесь заработать, или не светит. Обычно в отряде при обсуждении в своем кругу перспектив на заработок, верх брали пессимисты. Никто не боялся «накаркать», но все боялись «сглазить». И в духе закоснелых консерваторов превозносился прошедший сезон. Хвалили, как ловко командир или, там, мастер (имя такое-то) провернул дело, обвел вокруг пальца и обеспечил хороший заработок.

Причем не строились иллюзии, что если очень хорошо работать, то деньги будут гарантированы. Все разговоры ходили о нарядах, как бы так хорошо их закрыть. Мало кто видел эти бумаги в натуре, но разговор вели, как заправские специалисты.

Командиры же, наоборот, как один доказывали, что не ваше дело говорить о расценках, которых вы все равно не знаете, рассуждать – выгодная или невыгодная работа, в кармане от этого не прибавится. Они считали опасным грехом привлекать к своим делам кого-либо из рядовых бойцов, еще большим, чем хвалить за хорошо, или быстро сделанную работу. И главное, о чем они твердили в один голос, что на халяву никто ничего не получит. Каждую копейку придется отработать.

Такая неопределенность обычно тянулась до конца сезона. В массы просачивались весьма разноречивые цифры. Только в Воскресенском отряде существовало правило сообщать итоги недели в тысячах рублей, благо они были внушительные. Внушительные, но иллюзорные, так как это была одна сторона медали. Приходная часть. Чтобы понять, сколько выпадет на руки, недоставало двух существенных категорий: сколько будет вычтено и как поделен остаток. Эти величины оценить было значительно труднее. Практически нереально. Оставалось гадать и надеяться. На что? В первую очередь на репутацию отряда и командира.

Васю Перина, например, весь сезон ругали на все корки. Кто с озлоблением, кто с усмешкой. Но, получив по четыре сотни в сентябре, все как прозрели. Вася сразу стал милым, забавным, симпатичным и мудрым. На следующую весну Змейков ходил с блокнотом, «собирая людей» на БАМ, в отряд, которым

будет командовать Вася. Что у него был за список, куда делся – неизвестно. Известно, что такой отряд не состоялся. Пришлось искать контакты, и через Буканова кланяться Сорокину, чтобы не обидел и зачислил к себе.

Сорокина на БАМе не хвалили даже его бывшие соратники. В сезон 1975 года он был комиссаром и, как рассказывали, всё лето проиграл в волейбол и бадминтон. (Вот только вопрос с кем?). Хороший заработок в «Магистралах 75» приписывали исключительно Толику Рязову. И вспоминая, как пахали в прошлом году, предсказывали копеечные зарплаты. Но осенью Саня Леонов простодушно подвел итог: «Хороший был отряд. Работали мало, заработали много». Вот и разберись, кто прав.

Что рассказывать, как закрывались наряды! Мы видели только то, что плавало на поверхности. Как привечали гостей из трестов, какими порой возвращались наши командиры и мастера, и иногда кто-то из бригадиров. Но разговор об учете каждого забитого гвоздя и каждого вычерпнутого ведра воды все-таки велся. Или для дисциплинирования самих бригадиров, или, может быть, для накопления козырей в завершающей партии.

А наряд? «Кто считает эти тройные перекидки? – сказал мне один знакомый бригадир, участвовавший в «деле». – Сделали сто двадцать, а закрыли двести». Но подождем. Может быть, точно расскажет кто-нибудь из тех, кто знал такие «дела» не понаслышке. (Зюзин, Секерин, Бudyлин, Паршин, Локшин, Свинцов и другие, список тоже не маленький).

Если уж говорить с дистанции прожитых лет, дело упиралось не в наряды и необходимость приписки, а в состояние фондов работодателя. Разумеется, химвигант в Воскресенске, как сейчас говорят – градообразующее предприятие, далеко перекрывал по своим экономическим возможностям любой строительно-монтажный поезд или СУ. А наряды служили только обоснованием. Всё определялось тем, есть еще средства, или нет. Если есть – можем подкинуть, а можем попридержать. А если уж нет, растрочены на балаган и показуху – тью-тью. Пиши, не пиши – взять негде.

Ведь бюджет, не бездонная бочка, дадут – сколько выделили, а выделяют – сколько запланировали и выбили. Если доложено наверх, что работа выполнена, второй раз денег на нее не дадут. Платить будут из того, что выделено на другое, или с каким-то обоснованием дополнительно выбито. Естественно, это будут крохи.

Опять же важно для любой стройки, когда попасть в долю. Начало это или конец строительства. Так Камаз, который хотели запустить в 1974, а промучились до 1976, в 1975 году уже исчерпал свои возможности, работал на изысканные резервные отчисления. В этом и состояла задача ССООшных командиров – вовремя сориентироваться. Понять, можно здесь взять столько, сколько надо – или нельзя. Можно – значит попытаться (тоже задача не из легких), а нельзя – искать доп заработок на стороне.

Так обстояло дело с приходной частью.

Расходы отряда, по определению, казалось бы, не должны были составлять никакой тайны. Вот он штаб, ежедневно делающий эти самые расходы и знающий их до последнего гроша. Но именно эту цифру рядовому бойцу узнать было невозможно. Это была святая святых. Поразительная вещь, на собрании принималось решение об общем котле («коммуна»), устанавливалась норма дневного расхода на питание одного бойца, а вот предложить (только предложить) представлять отряду еженедельный или хотя бы двухнедельный отчет о фактически произведенных расходах никому не пришлось в голову. Наивность достойная птиц небесных!

Вместо этого, по подаче сверху, избирались уполномоченные ревизионные комиссии, оформлявшие свои проверки, и тем самым дававшие штабу денежноучетные индульгенции. Да и по правде сказать, что могла выловить эта бедная комиссия, если суммы весьма произвольного размера можно было списать рукописным актом с участием любых трех бойцов отряда. На такие акты никто, конечно, не давал разрешения никаким голосованием.

Помню единственный случай, когда вынесенная на голосование статья расхода вызвала негодование (но не отказ голосовать). Все тот же тэбэшник Гудков транспортировал железной дорогой в Набережные Челны свой собственный мотоцикл. Требовалось оплатить перевозку. Нам стали объяснять, что эта ЯВА предназначена для служебных поездок и, в конечном счете, дает большую экономию. Когда поднялся крик, вопрос замяли.

Существовала великолепная тема для отвлечения страстей отрядного собрания – расходы на курево. Его обычно закупали централизованно, на средства коммуны. Вот и решали, должны ли все оплачивать пристрастия некоторых. Ничего путного в таких случаях не предлагалось, некурящие в душе были против, но помалкивали, зная, что кончится как всегда. Стоит заметить, что на БАМе у нас курящих было только пол-отряда, а в Воскресенске вообще четверть. Внук - Фролов не раз жаловался, как тяжело работать с некурящим бригадиром Михайловым, который забывает о перекурах.

А вот на БАМе произошел анекдотический казус: Владек Буйко, по польскому простоудию, предложил для некурящих в пропорциональных размерах закупать конфеты. Проголосовали «за», но больше для смеха; и так было ясно, что конфеты эти никто закупать не собирается, да и не нужны они никому. Но

курильщики были искренне возмущены. Курение – жизненная потребность, а конфеты – прихоть, зачем же тратить на них драгоценные отрядные деньги?

Итак, о приходе имелось смутное представление, насчет расхода можно было только гадать, а итог вытекал сам собой – остается маловато. И что же, в конце концов, лично твое из этого «маловато». То есть, как делить заработанное, если оно уже получено каждым в кассе и затем сгребено в общий мешок. Ни у кого не вызывало сомнений, что с учетом отработанных дней. Также несомненно, что одних отработанных дней недостаточно. Тут уж каждый чувствовал себя обделенным, легко находя кого-нибудь, кто работал хуже его и заслуживает меньшей оплаты. Каждому подспудно хотелось, чтобы ему дали чуть-чуть побольше, а всем остальным, чтобы никого не обижать – поровну.

Помню уникальное комсомольское собрание в Камазовском отряде. Почему комсомольское, обычно же таких не проводили? Припозднился комиссар, а надо проводить собрание. Зато комсорг налицо! Значит, тянуть ни к чему, вместо отрядного пусть будет комсомольское. А уникально это собрание было вот чем: на нем никто не хотел молчать. Все рвались говорить, перебивали друг друга, снова и снова просили слова. То есть картина противоположная обычному собранию. Вся загвоздка заключалась в том, что на этом собрании делили заработок.

Очень жаль, что не существует его стенограммы. Еще бы лучше было провести синхронную киносъемку скрытой камерой. Это был бы фильм, достойный любых архивов, вплоть до музеев истории XX века.

Дело происходило в августе, в сырой и холодный вечер. Собрались в полностью освобожденной палатке, только дощатый пол и тусклая лампочка. Отъехали бойцы, стало просторно в лагере. Заседали стоя, но не в шеренгу, а кто где привалился. В центре внимания Вася Перин. Он действительно мудр, позаботился привезти с собой теплые вещи. В какой-то войлочной тужурке, из-под нее, закрывая горло, темно-синий свитер, на голове – серо-зеленая вязаная шапка, с помпоном. Помпон завалился набок. И сам он весь какой-то съёжившийся, но не от холода, это было бы заметно, а как будто не выспался. Говорит вяло, в нос.

Бойцы, кто в чем, телогреек практически ни у кого нет. В основном – черно-оранжевые спецовки поверх свитеров, на некоторых – болоньевые курточки. Ясончик, как монах, в брезентовой накидке с капюшоном. Пучок в ярком трехцветном свитере толстой вязки. Лучше всех устроился Мак – добротный утепленный бушлат, который он скомуниздил где-то в городе.

Все шумят, задают вопросы, суть которых сводится к одному – нафига мы тогда все здесь остались. Время от времени Виктор Фролов лениво вставляет комментарии с замысловатыми экономическими терминами. Васька упорно выкруливает на одну тему: если нет бригад, каким образом лучше определять размер премии. И категорически не хочет отвечать: а по сколько же нам в конце концов отломится.

Через шум, а порой и смех – говорится всякое – собрание подходит к окончательному вопросу: сколько конкретно бойцов премировать и какой процент положить на их премии. Прежде чем на что-то решиться, каждый чувствует в своем мозгу раздвоение; с одной стороны – не продешевить, с другой – не прогадать бы. Неизвестно ведь, кто куда попадет, решает всё тот же штаб. Васька-то, он хитрый, с кем бы наедине не говорил, обычно заверяет: «Да разве ты не заработаешь? Неужели я дам тебе меньше чем «Сидорову»? (Называется не «Сидоров», а кто-нибудь из уехавших, чаще других Егоркин, Чуряев или Алиханов).

Выкрикиваются варианты, кто что придумает. Зинченко тоже пытается навести порядок, он все-таки комсорг. Но его реплики ничем не выделяются среди прочих. Наконец проголосовали. Недовольных, оставшихся в меньшинстве, много. Шумят, требуют голосовать еще раз, по-другому. Но Перин между тем приободрился, говорит другим тоном: «Это всё *ерунда*. Решили, значит решили. А кому не нравится, не держим. Дам денег на билет, и как говорится – гуляй Вася».

Фыркнул один, другой, захохотали все. Василий Федотыч недоумевающее переводит взгляд с одного на другого: что смешного он сказал? Потом многозначительно вздыхает – с кем приходится иметь дело.

В палатку пролезает комиссар Снисаренко, он где-то отсутствовал и пришел к самому концу. Переглянулся с Васей, тот кивает: все решено. И говорит бодро: «Ну что, закрываем собрание?».

Тут Киреев – Командор вдруг спохватывается: «А еще вопрос!» «Какой?» – быстро спрашивает Снисаренко. «Почему газет не бывает?».

Генка разводит руками: «Завхоз регулярно покупает газеты. Куда он, правда, их деваает?»

Завершающий общий смех, всем ясно – куда. И зашевелились, задвигались. Позаседали, пора и на боковую. Кто-то еще пытается говорить, что не договорил на собрании, но слушать уже некому.

На БАМе подобного беспокойного собрания не созывали. Вопрос был решен в русле прошлогодних традиций, и имел безусловных сторонников такого решения. Собственно, и в голову никому не пришло, что надо что-то обсуждать. Мы молча к таковому присоединились.

А в Воскресенске никаких собраний отряда вообще не было в принципе. На ежедневной утренней линейке до нас доводилась вся, нам положенная информация, в том числе и решения штаба по способу премирования бойцов и бригад. Правда, в самом конце сезона Ряузов зачитал нам не просто итоговую ведомость, как Перин или Сорокин, а полную бухгалтерию. Была составлена таблица, включающая всех бойцов отряда, из многих колонок. То есть, сначала, что кому причитается из заработанного, затем – сколько

оставалось у каждого после очередной статьи вычета. Все сидели и слушали, как постепенно таяли суммы, и что выпало в осадок на долю его лично. Не придерешься!

Как я уже говорил, в самом начале сезона бойцы ССО были настроены выжидательно, но пессимизм быстро брал верх. Так, отъезд половины камазовского отряда был лишь частично вызван тяжелыми условиями. Немалую роль играло и разочарование в возможности заработать.

На БАМе этот общий пессимизм был умереннее, рассчитывали, что тайга хоть в чем-то себя оправдывает. Заработок будет на последнем месте среди остальных БАМовских отрядов, но все же хоть немного потянет на сибирский уровень.

В Воскресенске все были убеждены в успехе, кто сильнее, кто слабее – но все. А когда получили, радовались прохладненько – хорошо, но хотелось бы хоть чуть-чуть да побольше. Ждали заветной тысячи, которую перетянул разве что Намоконов.

Хороший заработок считался заслугой командира, отсутствие денег – его неумением. На строительные организации обычно не грешили, не верили, что за нашу работу нам полагается больше, чем там дают. Только Командор был убежден в недоплате, называл трест Камдорстрой грабильной.

Собственно, надежда на командирские таланты и была той смягчающей подушкой, позволяющей безропотно и безучастно переносить отсутствие отчетности, произвол в отрядных расходах, возможные злоупотребления своей властью. Думалось – свяжи мы штаб по рукам и ногам, ограничь их действия – просидят голубчики в вагончике всё лето, и палец о палец не ударят. И останемся мы вообще на копейках. А уж себе они как-нибудь сумеют урвать.

Ведь не секрет, что бывало всякое. Вылезала вдруг странная недостача при возвращении стройтрестовского имущества, которую необходимо было покрыть. А то и просто теряли портфели с деньгами. Короче, о недобросовестности стройотрядовских командиров ходило не меньше легенд, чем о баснословных заработках. И суммы присвоенных ими денег называли астрономические. Даже по Астрахани. В общем, каждый рассказывал в соответствии с собственным чувством меры.

Напоследок приведу историю, которая доказывает, что дыма без огня не бывает. Я хочу вспомнить самый первый шаг в царство МИХМа, свой последний вступительный экзамен. Сдавали мы его на пару с одним приятелем, который потом не прошел по конкурсу. Назову его просто Виталием.

Экзамен мы благополучно сдали, на следующий день я забежал к другу, и узнал, что тот уехал в институт. Оказывается, после экзамена к нему подошли, как выразился его отец, два субчика. Спросили, сколько набрал баллов, поздравили с поступлением и с места в карьер предложили недельку поработать. Якобы, работать будут все, а он отделается от этой обязанности уже сейчас.

Виталька честно отработал неделю на бетонном заводе, в паре, как я потом узнал, с Григорием Божко. Тот тоже попался «субчикам», а отказаться, разумеется, просто не рискнул. Один из этих «субчиков» был пятикурсник Алексей Сухов. Что же мне стало известно из других источников уже на пятом курсе. Таких доверчивых пареньков ловили и поставляли в распоряжение командиров московских стройотрядов. Не обязательно МИХМовских. Те выводили их на объект под именами своих бойцов, и за работу шли реальные деньги. Кому, вопрос риторический.

Не хочется заканчивать на дурной ноте. Еще одна история, на этот раз про удачливого стройотрядовца. Сидели мы в шашлычной с Володей Масловым. Подошел к нашему столику парень, спросил огоньку. На нем была стройотрядовская куртка, оформленная уже по-новому, с наклейкой над грудным карманом со знаками различия. Там обычно помещался один, два и более шевронов, в зависимости от уровня штаба.

У парня на наклейке значилось ВССО – то есть самый низший уровень. Маслов осведомился несколько свысока, во скольких тот побывал отрядах. Парень не обиделся и пояснил, что они работают по-другому. Куртка только форма. А едут они впятером-вшестером в колхоз, нанимаются что-то строить и зарабатывают за лето 3,5 – 4 тысячи каждый. Без всякого штаба.

Короче, смотрите фильм «Кот в мешке». Рукавные нашивки на стройотрядовских куртках у тех кинематографических шабашников и умельцев почему-то МИХМовские. Узнать бы, кто консультировал картину.

Раздел 3. От сессии до сессии.

Проблемы и трудности учебы в МИХМе, и в институте вообще, комментировали многие. «Студентом становишься только после сдачи Сопромата» – это самая распространенная фраза. Впервые я услышал ее еще от Глебова, на одном из первых собраний. Она потом по всякому варьировалась, типа «Сдал Сопромат – можешь жениться». Иногда в неё вставляли, как промежуточный этап Начерталовку. В любом случае выходило, что надо преодолеть два первых года. Приходилось слышать и чуть-чуть иное толкование. Ясончик любил говорить, что курсы – как пальцы на левой руке. Первый – это мизинец и трудность пошла вверх, в соответствии с длиной пальцев. Второй труднее, третий еще труднее, четвертый – легче второго, но

труднее первого. А уж пятый – проще не придумаешь. Что-то похожее о своих шести курсах говорили и медики (Три года крематорий, три года санаторий).

Родион Верхоломов на правах ветерана, помнится, выразился просто, без подробностей «В МИХМ поступить легко, а учиться трудно».

На самом деле во всех этих разговорах отражена чисто внешняя сторона. Неоспоримый факт, что на первом курсе начинается отсев, и пика своего он достигает к концу второго. И если заглянуть в зачетку рядового студента (исключив стабильных отличников и заядлых троечников) то картина будет похожая. Оценки снижаются к концу второго курса, а затем снова идут на улучшение, выравниваясь к середине четвертого.

Но это говорит не о трудности предметов, а о трудности самой институтской учебы, как таковой. Тот же Сопромат требует не столько ума, сколько внимательности и усидчивости. И вылетают не только из-за двойки именно по Сопромату или Начерталовке. «Непробойным» предметом у студента-отставника может оказаться любой: и черчение, и химия, и даже английский. Вопрос индивидуальности.

Дело не в сложности или обилии материала, дело в адаптации. Просто студент сам по себе, независимо от специальности, особая профессия. Студентом надо научиться быть. Как говорили в армии «понять службу». То есть уяснить элементарное – что можно делать, что можно не делать, а что необходимо выполнить обязательно, хочешь ты этого или не хочешь, можешь или не можешь. И только после этого из позавчерашнего школьника возникает студент – «рыба плавающая по поверхности знаний, и дважды в год ныряющая вглубь, за стипендией».

А пятикурсник уже уверен, что сдать он может любой мыслимый предмет, дай ему только день и ночь подготовиться, и скажи какой именно. Хоть китайскую грамоту. И отсюда выплывает неожиданный, но совершенно очевидный вывод – чтобы сдать, не обязательно знать. * Но в скобках всё-таки замечу, в наше время не было такого универсального ключа к отметке на экзамене, как деньги. Любой попытавшийся, ни с того ни с сего, купить балл у экзаменатора, был бы расценен как дешевый провокатор, и вылетел бы. Хорошо, если только с экзамена. Преподаватели жили тогда заметно лучше прочих, обеими руками держались за своё место, и в подачках не нуждались. У них были другие способы «подработать».*

Вывод про «сдать» и «знать» - один из главных принципов, постигаемых начинающим студентом.

Припомнились кстати слова Анатолия Михайловича Губанова, профессионального математика, работавшего на «Процессах». Он как-то спросил меня: «А какой вуз вы заканчивали?». И услышав, что тот же МИХМ, печально резюмировал: «Значит, математики не знаете». Если бы только математики! Работая после окончания института на кафедре «Процессов и аппаратов», я регулярно тайком подглядывал в учебник этой кафедры, так как выкручиваться, компенсируя сообразительностью отсутствие в памяти требуемой информации, приходилось на каждом техническом совещании.

И если взглянуть по времени еще дальше, на последующий период моей работы конструктором, выяснилось, что и по черчению, казалось бы, самой детской из институтских дисциплин, у меня есть заметные пробелы. А уж где-где, но тут я был точно из самых лучших, а пресловутую Начерталовку усвоил до самых печёнок. Но, и ещё раз но... До профессионального уровня снова пришлось пополнять багаж, правда, на этот раз хватило считанных недель. И потом, вспоминая иногда некий инцидент на Новгородском комбинате (еще до КБ), я только насмешливо тряс головой. Вот уж воистину, сами мы тогда не понимали, как выглядели в глазах заводчан.

Так это было. Бригадой, от лаборатории кафедры мы привезли в механический цех комбината чертежи требуемой для работы оснастки. Чертили их коллективно, в шесть инженерских рук, во главе с Кузнецовым, сэнэссом и кандидатом. Мехцех изучил наш проект, оснастку успешно изготовили, пустили в работу, дело пошло. А потом, через полгода, технолог из комбинатского цеха-партнера, где мы переоснащали аппарат, по секрету передала нам мнение изготовителей: «Детские чертёжики». Разумеется, поработав потом в КБ, я полностью стал с этим согласен. Кроме фактических ошибок, которые в цеху, не заморачиваясь, исправили походя, наши детали и узлы «висели в воздухе». Мы не учли ни требований к материалу, ни возможностей цеховых станков, ни потребных сроков работы нашей оснастки. Не заложили ни обработку, ни точность изготовления, ни ... В общем, кто понимает, дополнит сам.

Поэтому, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, а кого же из нас в институте готовили? По всей видимости, просто людей, способных стать когда-нибудь хорошими инженерами. Вероятно, была это своеобразная игра, начатая не нами и с нами не завершившаяся. Причем велась она на полном серьезе, все делали вид – институт выпускает готовые квалифицированные кадры. Ну, студентам такое заблуждение простительно, что еще с них взять по молодости. Но, поразительное дело, и преподаватели были в этом совершенно искренне уверены. А всякую другую точку зрения посчитали бы примитивно-дилетантской. Конечно, сказали бы они, студент студенту рознь, но хороший студент... К сожалению, ничего подобного.

Впрочем, преподаватели были разные. Сквозь обязательный официоз порой проступали у них искренние черточки истинного отношения к своему делу. Попадались среди них и циники, и скептики, и правдоверные болваны. Но в подавляющем большинстве всё-таки оставалось главное – желание обучить непосвященных, замешанное на придании максимально большого значения именно своему предмету.

Отношение к студентам в свою очередь у таких преподавателей расходилось по диаметрально противоположным направлениям. Одни обращались с нами, как с наивными цыплятами, только вчера вылупившимися на свет, и буквально разжевывали солидным тоном самые элементарные понятия. Другие с ходу зачисляли студентов в тупицы и лодыри, перед которыми приходится метать такой прекрасный бисер, но только от этого всё равно не будет никакого.

И не разу мне не доводилось слышать, чтобы хоть один из преподавателей признался, что и они, и студенты – одного поля ягода. Что понятие «институт» это и есть неразрывное единство студентов и преподавателей, некий замкнутый самодостаточный мир, живущий по собственным правилам и законам, и к миру за институтскими стенами имеющий лишь некоторое отношение, какое-то периодическое двустороннее взаимное сотрудничество, но не более. И преподаватели такой же компонент этого мира, не представляющий, в отрыве от обучения студентов, ничего самоценного.

Мне четко запомнилось заявление Сахаровой Дины Даниловны с кафедры теоретической механики: «В этом семестре мы закладываем в вас основы Сопромата, в следующем – ТММ». Это были верные и очень честные слова. Именно по этому принципу была построена учебная программа института в целом. То есть, для чего вам нужно изучить курс механики. Для того, чтобы уметь пользоваться ее аппаратом? Нет. Такая задача не ставилась. Именно для облегчения обучения последующим дисциплинам.

Стоит отвлечься чуть в сторону и припомнить высказывание Губанова о МИХМовской математике. В первые годы после окончания МИХМа я невольно удивлялся, обозревая собственный, приобретенный за время учебы, математический потенциал. Для технического и производственного инженера он был, без сомнения, избыточен. Вспоминались огромные тетради, исписанные на лекциях под диктовку Полины Ивановны Истоминой. Не столько содержание, сколько самый вид этих лекций с фирменными «закорючками», выделяющими подразделы и вставки. А вот для научного работника столько же математики было явно недостаточно. И не хватало самого главного – умения самостоятельно и уверенно решить возникшую задачу методами высшей математики, не откатываясь на школьную алгебру. Пусть даже задача будет простенькая. Так для чего же нас учили математике целых два с половиной года?

Сейчас я знаю ответ. Именно для того, чтобы нам были понятны сделанные кем-то математические выкладки, встречающиеся в других дисциплинах. Не для того, чтобы делать что-то самим, а чтобы воспринять готовое. Хотя никто, никогда, не говорил этого прямо.

Был момент, когда очень отчетливо вылезла наружу цена усвоенного нами. Та же механика, та же неумолимая Дина Даниловна (кстати, дважды выставлявшая меня с лекций) проводит глобальную переписку незачтенных работ. Участвуют все факультеты. Позади уже сравнительно нетрудные статика и кинематика, дело дошло до динамики – тех самых дифференциальных уравнений, которые по математике мы к тому времени успешно сдали. Но сейчас нужно не сдать – попросту говоря, протрещать что-то зазубренное – сейчас нужно именно применить – решить парочку задач. Не по готовым формулам, а выведя их из уравнений.

Маленькая угловая аудитория полна; сидят, пыхтят, решают. И в коридоре столько же народу – болельщиков и помощников. Помочь бы рады всей душой – есть способы вынести наружу условия задачи, время от времени кто-то выходит прочь. Есть способы передать решение (Уся, например, натренировался закидывать прямо через раскрытую дверь сложенную бумажку в ящик заднего стола. Прямым попаданием! А там передадут... Есть и другие приёмы.) Да вся беда в том, что решение нельзя где-то найти. Задачу просто-напросто надо решить. А вот это как раз то, чему мало кто научился.

Не помню, каким образом я оказался среди пересдающих. Явно не из-за «неуда», в принципе мне удавалось проскакивать подобные работы с первого раза. Наверное, в своё время просто прогулял, не явился на семинар. На занятия Дины Даниловны я ходил очень нерегулярно. Во-первых, уже упомянутое недоразумение на лекции, потом, за нерадение (заболтались с Усей, и я еще ничего не списал с доски в тетрадь) она на меня сильно наехала и на семинаре, предлагала подписать зачет и не видеть больше моей рожи до конца семестра. Затем был неудачный ответ по карточкам, об этом чуть позже, и я, по словам самой преподавательницы, был зачислен в «махровые бездельники».

Но к описываемому времени всё почти осталось в прошлом, утряслось и урегулировалось. Тем не менее, работу я, как и другие нерадивые, переписывал. Однако справился с этим заданием быстро, представил к проверке, получил «добро» и вышел. (Попутно передал на ходу, по простоте не скрываясь, решённую для Галки Пугачевой задачу, чем поверг в шок всю аудиторию во главе с Сахаровой. Этот эпизод потом пересказывали вместо анекдота). А, выйдя, попался в цепкие руки «группы поддержки». Что делать? Уйти не было никакой возможности, я оказался единственным, кто в этих задачах хоть что-то мерекал. Ведь те, кто умел и написал сразу, сейчас сидели дома. И началось. Я приткнулся на подоконнике и решал всё подряд, честно говоря, сам мало что понимая в собственных решениях. Это была голая импровизация, наитие пополам с нахальством и почти игра в рулетку. Я сам не мог сказать, правильно я решил или нет. Но, во-первых, это было «похоже», а во-вторых, у людей просто не было другого выхода. На безрыбье годился и такой спец.

Потом, по просьбе ребят, я приходил на эти пересдачи еще раз два. Решать лучше не стал, наоборот, к концу перестал вообще понимать что-либо. А решения задачек вылезали откуда-то из подсознания. Зато окружающие смотрели на меня разинув рот, как на волшебника или фокусника. Они, такие же студенты, вообще не представляли, как можно что-то как-то выдавать на бумагу сквозь такой мрак непонимания.

Пожалуй, эти контрольные и были высшим пиком нашей математической отдачи за все годы учёбы.

Прежде чем перейти к другим темам, доскажу про исход своего поединка с Диной Даниловной, завершившегося ещё в конце предыдущего семестра. Тогда встал вопрос, что если я не хочу глобальных последствий, должен сдать всё пройденное немедленно, одним махом, причем устно. Робости у меня не было никакой, ведь до начала динамики материал был прост и очевиден. Все аудитории в тот день почему-то оказались заняты, Сахарова согласилась разобраться со мной прямо в помещении кафедры. Сначала она комментировала кому-то из сидящих здесь же коллег, что вот с каким контингентом приходится иметь дело. Потом успокоилась, убедилась, что спрашивать меня бесполезно, поскольку материал усвоен даже в слишком полной мере. Но, тем не менее, заметила вскользь: «Бывают же чудачки на свете». Тогда же и прошла насчёт махрового бездельника. И вдруг вспомнила – карточки! А там-то что не так?

Эти карточки лежали поблизости в шкафу, Дина Даниловна извлекла всю пачку. Пачка чуть растрепалась, я опознал тот номер, на который отвечал в прошлый раз, и сказал, какой дал ответ.

- Почему? – искренне удивилась преподавательница. – Разве вы не знаете, какая реакция у жесткой заделки?

Я удивился еще больше:

- А это что, жесткая заделка?! Разве не просто стержень упирается в стену?

- Как в стену? Не бывает такой опоры!

- Опоры не бывает, - спокойно согласился я, вдруг поняв, какой подвох устроил себе сам с этими карточками. – Но ведь так нарисовано.

- Имеется в виду... - Дина Даниловна медленно пролистала карточки. – Да! А мы не поймем, почему по таким простым вопросам так много ошибок.

Я ушел с миром. А карточки потом переделали. Специально для самых махровых и непонятливых.

Трудно сказать, насколько основательно заложили в нас на Термехе основы, на которые должен был встать Сопромат. По крайней мере сопроматчики предпочитали учить всему сами. Особенно это касалось нашего Щеглова, Александра Александровича. Может быть, сказала старая школа. Щеглов был весьма преклонного возраста, плоховато слышал, но глаза еще сохранил. На логарифмической линейке, например, он считал до четвертой значащей цифры, чего требовал и от всех нас. Самая забавная его черта – он принимал курсовые задания только в бухгалтерском виде, подшитыми в картонные скоросшиватели. Но в целом, голова старика Щеглова оставалась ясной, а методичность преподавания исключительно строгой. По единой, навеки отработанной системе. И честно говоря, это, по мере привыкания, очень облегчало жизнь.

На мой взгляд, не было во всей институтской программе предмета проще, законченней и логичней Сопромата. Но главное, чем ни в коем случае нельзя было пренебречь - соблюдением заведенного ритуала. Запись на прием к преподавателю, приём только по записи, обязательное соблюдение установленных сроков. Никакой халтуры, наскоков, в принесенной тобой очередной порции выполненного задания проверяется (и пересчитывается) каждая строчка. Мало того, на семинарах Щеглов «от и до» расписывал и рассчитывал типовое задание. При такой методе с заданием справится и дрессированный медведь. Одно верно, объемы всех этих курсовых работ немалые, и кто надеялся быстренько наверстать потом, как правило, жестоко просчитывался. Тут сопроматчики стояли насмерть, а Щеглов, как мне помнится, не сделал послабления никому.

Однажды, уже в следующем семестре, Сан Саныч заболел. На кафедре думали, что дело серьезно, группы передали Жёлудеву, о котором ходили слухи, как о либерале. В первый же вечер после семинара у Жёлудева на консультации было столпотворение. И все, почти поголовно, щегловские. Жёлудев только отмахивался, «ну, завалила бухгалтерия». Кажется, кто-то у него и проскочил без доскональной проверки. Не знаю. Я там не был и, пока собирался да канителиться, узнал, что накануне Щеглов внезапно объявился в институте, и первым делом забрал у Жёлудева все дела.

Пожалуй, Сопромат мы действительно изучили хорошо. Правда, потом недовольно бурчали. В «Деталях машин», в «КРаме» - предметах-наследниках педантичного Сопромата и слышать не хотели о методиках его расчетов. Разве только самую малость. И вообще, после математических и графических замысловатостей мрачного Рубена Дмитриевича, нашего Сопроматовского лектора, лекции Флоринского и Балдина казались эстрадным развлечением. (один – вечно улыбающийся, манера второго – ирония без улыбки). Картинки; нехитрые, или наоборот заумно-громоздкие формулы, которые, вне всякого сомнения, требовалось не понимать, а знать и помнить. А толщина оболочек, для наших условий, оказывается, вообще выбирается из конструктивных соображений. Мало ли какие эпюры чертили вы там на Сопромате. Главное теперь – знать конкретную толщину стенки. Вот так.

Помню единственный случай, когда добрых полтора десятка лет спустя, во взрослой жизни, мне пришлось столкнуться с Сопроматом и его формулами. Причем из раздела, который не входил в наш

МИХМовский курс. Встал вопрос о телах, находящихся под воздействием разрывающей центробежной силы.

Я тогда работал на малом предприятии, мы изготавливали абразивные круги собственных конструкций и собственной разработки. В том числе высокоскоростные. Тихоныч, основатель дела и признанный теоретик, видел в них главную перспективу. Но делать конструкции и состав наобум, «на глазок», а потом гробить большую часть экспериментальных образцов при испытаниях, вместо того, чтобы их продать, показалось слишком накладно. Разумнее было делать расчёты, хотя бы ориентировочные.

Когда о расчетах зашла речь на внутреннем совещании, Тихоныч с важным видом открыл учебник по Сопромату на нужной странице. Действительно, там было чётко выведено, чему равняется нормальное и касательное напряжение в заданной точке диска в зависимости от угловой скорости вращения.

- Пожалуйста, считайте.

Все равнодушно захмыкали, дескать, всё ясно с этими теоретиками, что уж тут считать. Пришлось мне возразить, что в нашем случае такая формула не подходит. У нас не плоский диск, а ступенчатый, иногда и не прямоугольно ступенчатый, и даже просто переменной толщины с плавным переходом. Не говоря уже про экзотические варианты, вроде осциллирующих кругов. Тихоныч сделал вид, что ничего не слышит, его зам заметил, что при желании, наверное, можно вывести формулу и для наших случаев. (Правда, лично он за это не брался, несмотря на свой диплом с отличием).

Пошумев, всё-таки остановились на моём варианте – не возиться с выводами строгих математических зависимостей, которые реально сделать некому, а принять упрощенную модель механизма разрушения круга. В таком случае расчет сводился к вычислению объёмов, площадей и центров тяжести. И пошла экономия. С такими выкладками мы легко оценивали все мыслимые формы кругов, отбрасывая заведомо слабые. В целом наши прикидки совпадали и с результатами контрольных испытаний. Однако, самого дела это, увы, не спасло, через год оно самоликвидировалось. Но приятно было сознавать, что хоть за чем-то мы в молодые годы учили Сопромат.

Знать не просто так шутили когда-то наши остряки, оставшиеся безымянными народными авторами:

«Чтобы точно бросить *балку* – изучайте Начерталку.

Чтобы балку не сломать – Сопромат еще бы знать».

Итак, окинув беглым взглядом главное древо нашего инженерного образования (от чистой математики до детального конструирования) можно взглянуть и на боковые ответвления – с одной стороны гидравлику и теплотехнику, с другой – описание технологических процессов. Первое, как положено думать, базировалось на курсе физики, второе – соответственно – химии, во всех ее ипостасях от неорганической до физической и ОХТ.

Химию студенты МИХМа не любили истово и поголовно. Но относились к ней с большой осторожностью, понимая - в случае чего, не сдобровать. С пробирками и колбами возились аккуратно, лекции мало-мальски посещали. Правда, например, в аудитории, под плавный рассказ экс-взрывника Шидловского, всегда стоял ровный монотонный гул. Так что Кесслер, зав. кафедрой, подменявший однажды Шидловского, начал с того, что выпалил, как из ружья:

- Это что здесь такое творится?! Профессор Шидловский получит выговор за такую дисциплину!

И надо сказать, лекция самого Кесслера прошла при почтительном молчании. Но вернулся на следующей неделе мягкий Шидловский, вернулись и его порядки. Кстати сказать, когда Юрий Михайлович Кесслер вел у нас во втором семестре лабораторки и семинары, он совсем не походил на того грозного оратора, заставившего когда-то смолкнуть наш беспардонный поток. На занятиях он был разговорчив, не чужд легкого юморка, терпим и лоялен, совершенно непридирчив по мелочам. Впрочем, примерно то же можно сказать почти про всех наших химиков, даже про Анну Романовну Фрагину, которой пугали новичков. А та же Татьяна Ивановна Бондарева, ужаснувшая нас сначала своим устрашающе-зловещим видом, оказалась вполне удобоваримой. Так что лямку химии, не шатко - не валко в нашей группе понемногу тянули все, благо, началась она полегоньку, с простейших опытов у спокойного Юрия Язеповича Сколиса. Впрочем, лично для меня химия всегда была очень легким предметом, и на моё мнение не слишком стоит полагаться.

Зато физика, на первых порах, крепко дала о себе знать. И казалось с чего бы? Неторопливые лекции Жежерова, периодически уносящегося в философию, школьные эксперименты-лабораторки с шариками и пружинками. Но для студента очень важно, в чьи лапы он попадает.

Когда мы пришли на первое занятие, перед нами замельтешил немолодой дяденька, уже одетый в пальто и шапку пирожком. Он быстро сообщил, что группу на две подгруппы разобьем в следующий раз, а сейчас ему надо уходить. Занятие проведет Валерий Николаевич Монахов. И Монахов вошел. Высоченный мужчина с грубым, широкогубым лицом, на котором неподвижно застыло брезгливое выражение. Голос его тоже был под стать – резко-гнусавый, раздраженный. Группа притихла.

Монахов стал объяснять, что в каждой лабораторной работе мы должны не просто измерять величины, а проводить серии замеров, для оценки точности нашего измерения. Потом подробно расписал на доске, как величина этой точности определяется и вычисляется. Объяснял он хорошо, вполне доступно, но мы не

столько вникали в его рассуждения, сколько трепетали, потрясенные такой необычной внешностью и манерой самого преподавателя. В перерыв Юрка Терентьев со смехом заявил, что кто-как, а он пойдет только в подгруппу, которую будет вести Федотов (тот, который убежал). Так, разумеется, и вышло. Не помню, был ли вообще нам предоставлен выбор, но что касается меня, без всякого сомнения, мне, как обычно, была прямая дорога в подгруппу Монахова.

Выбирали мы другое – кто с кем попарно будет выполнять лабораторки. Маслов сразу помахал рукой, я кивнул. Потом с подобным же предложением обратился ко мне и Серега Усенко. Я, было, замялся, но тут возмущенная Синявская напомнила про моё, только что данное, согласие Маслову. Пришлось Усе объединиться с Натальей Дабижей. Потом он меня укорял в своей обычной ёрнической манере: «Вишь, кака штюка выходит. Я-то думал, моя Дябижя путет шчитать. А шчитать мне надо. А что я один наштитаю». Зато мы, на пару с Володькой «наштитами» так, что еле потом выпутались. Надолго нам запомнился Валерий Николаевич.

Он, кстати, сразу заявил, чтобы мы не питали иллюзий. На первых порах покажется, что идет простое повторение школьного курса. А на самом деле разница «как между вторым классом и девятым». Но разница оказалась, просто как между школой и институтом. Работы нужно было не только верно выполнять, но и сдавать, или, как выражался Монахов – защищать. И защищать в полную силу, потому что драл он немилосердно. Больше всего мы мучались именно с этой оценкой погрешностей. Исписывали целые листы, кривясь, подсчитывали «в столбик» многозначные числа (про логарифмические линейки вспомнили почему-то только к Сопромату, а калькуляторы завелись лишь к концу учебы. В 1975 они еще были заморской диковинкой). И потом долго доказывали Монахову, что у нас всё правильно.

Ясно дело, защита лабораторок продвигалась медленно, и Маслов предложил схитрить. Работы наши бригады-двойки выполняли вразнобой, кому какая достанется, а потом менялись. Гениальный план состоял в том, чтобы списать у Уси замеры уже защищенной им работы, а потом досписать и остальные расчёты. До сих пор теряюсь в догадках, как узнал об этом Монахов.

Он посмотрел с усмешкой на принесенные нами ему на подпись фальшивые замеры. И встал:

- Пойдемте! На каком стенде выполняли?

- На этом, - ткнул я по простоте пальцем. Маслов быстро меня поправил: - Ты что! На том!

- Да-да, на том.

- Меряйте!!!

Володька взял линейку, приложил к нити, на которой был подвешен шарик. Получалось слишком коротковато. Он попробовал натянуть нить – бац! Шарик сорвался и упал. Маслов быстро подвязал его снова, но получалось еще короче... Монахов медленно взял обе наши лабораторные тетради большого формата одной стопкой, слегка покачал в воздухе на широкой ладони и шлёпнул на стол, как кость домино:

- В деканат.

Так мне представился случай коротко познакомиться с самим Николаем Семеновичем Глебовым. Беседа, впрочем, тоже была краткой. Он просто обозвал нас дураками, и распорядился выписать допуск на продолжение занятий по физике. И потом весь семестр мы проводили вечера в еле-еле ползущих «защитах». Конечно, не мы одни, таких было немало, но особое отношение ко мне и Маслову проскальзывало постоянно. Монахов явно нас выделял среди прочих своих двоечников. Сам он, кстати, педантично просиживал до ночи на кафедре физики, заметно дольше других преподавателей, и ни капельки не старался облегчить жизнь ни себе, ни студентам. Встанет, бывало, быстро выкурит на лестничной клетке Беломорину и снова за свой преподавательский стол.

И как мы ни старались потом тщательно готовиться, отвечать быстро и четко, наш непоколебимый Валерий Николаевич держал нас в черном теле до самой сессии. Отгонял за вечер по нескольку раз. Что ж! Читали учебники, уходили поужинать в буфет и снова возвращались на физику. Между прочим, в буфете я заодно узнал, что бывает в природе такое блюдо, как заливное мясо, а пирожные трубочками, оказывается, именуются «эклеры». Ох уж эта Москва!

Монахов выжимал из нас соки вплоть до экзамена, на котором чётко перехватил к ответу Маслова, а потом и меня. Погонял дополнительными вопросами по всему курсу и отпустил, наконец, с твёрдой тройкой. Знания удовлетворительные!

На втором и третьем полугодии по физике, наша группа перешла к лояльным женщинам - Курко и Нифантьевой, и они только радовались, как ловко мы щелкаем лабораторки. Мы, разумеется, радовались не меньше.

Тройка у Монахова была у меня первой. Правда и пятерок я еще пока не получил ни одной. В предыдущей стартовой сессии всё время был «на грани», и ни разу ее не переступил. Уж на что Новиков, так искренне восхищался моими ответами, но всё-таки скривился от графики. Как будто в Начерталовке главное не знать, а рисовать! Каждый из четырёх экзаменаторов на свой лад пытался мне внушить, что отвечать надо чуть-чуть по иному. В том числе, поменьше заглядывать в учебники, побольше в лекции. Нелепая ирония. Ведь очень скоро поневоле будет у меня именно так. А пока... Пока я расставался с детской иллюзией бывшего лучшего ученика школы, что экзамены надо сдавать «честно».

Что значит – честно. Всего-навсего материал осваивать сразу, на занятиях, и продемонстрировать на экзамене, что ты понял и умеешь в действительности. В том числе, ни в коем случае не знать, какие будут билеты и специально к экзамену вообще не готовиться. Всё прочее – показуха. Именно такой идеал я пытался внедрить в жизнь в течение первого семестра и первой сессии. Но преподаватели такую честность не принимали. И хорошо, что в принципе дело обошлось малой кровью.

Зато трояк по физике, и следующий – по математике поставил вопрос ребром. Можно упиваться своей честностью, признавая, что Монахов переборщил, а высшую математику ты пока действительно усвоил слабовато, но... От отметок зависит стипендия. Еще одна тройка и «до свидания». Да что там тройка! Пора срочно нагонять баллы. И я, как проклятый, уселся за химию. Зубрил дословно и досконально в первый раз в жизни, хотя вообще-то знал химию очень прилично. Но проколоться было нельзя. Таким образом и появилась в моей зачетке первая пятерка, и именно она всегда вызывала у меня неприятные воспоминания. На ней я «отступил от принципа». Хотя конечно спас и стипендию, и может быть сам диплом. Решающий шаг к превращению в студента был сделан.

Кстати о стипендиях. Витька Калитеевский (к тому времени уже получивший в своей группе прозвище Гжезь, которое очень не любил, и потому я его больше упоминать не буду) сдал первую сессию на одни пятерки и, ни капли не сомневаясь, ждал прибавки к стипендии. Напрасно. Потом он при каждом удобном случае поносил Глебова и действительно его ненавидел, за то, что тот якобы сказал: «Мне такие ловкие отличники не нужны. Это слишком просто. Каждый должен заниматься общественной работой». И к слову сказать, ни разу больше Витька так не выкладывался. Мне же повезло. К третьему курсу нашу группу перебросили декану Соломахе, перетрясая по-новому три факультета. Геннадий Петрович Соломаха уважал учебу несколько выше дел общественных. На его факультете безоговорочно доплачивали не только пятерочникам (по 10 руб.), но и четверочникам (только по 6 руб., но и это не семечки). И мои оценки сразу пошли в гору, четверки остались на месте, но тройки сменились на пятерки.

Что было потом? Много чего. Гидравлика, термодинамика, электротехника... Содержалось ли в них что-то из пройденного нами курса физики? Если и да, то совсем по чуть-чуть. А уж в «Процессах и аппаратах химической технологии» и следов не было никакой химии. Но нас это не смущало и, откровенно говоря, никто в этом совершенно не испытывал нужды. У всех к тому времени окончательно оформилось главное знание студента – с какого конца подойти к предмету, как взяться и как распределить собственные силы, чтобы побыстрее от него избавиться. Технический это предмет или сопутствующий, вроде гуманитарных – иностранный язык, философия, экономика – было уже неважно. Всё теперь преодолевалось с равным успехом. Единственно особняком стояла военная кафедра, но ей, пожалуй, стоит посвятить отдельную тему.

Раздел 4. Суровая Кинешма

Четвертое студенческое лето было запланировано и предопределено заранее. Оно отводилось под прощание с военной кафедрой - военные сборы.

Начнем с состава кафедры. Вот они, те, кто делал из нас защитников Родины и всего мира. (Качур вещал: «На Западе опасность сохраняется, на Востоке с каждым годом нарастает»). Перечисляем по порядку убывания. Пусть не дуются, которые из лейтенантов и капитанов добрались до полковников (или даже...). Я говорю только про период с 1975 по 1978 год, а еще точнее, ближе к его началу. Момент, когда в мозгах навсегда отпечаталось (например – «майор Гуркин!»).

Зав. кафедрой полковник Квасенков.

Полковники: Гарайшин, Родионов, Катровский.

Подполковники: Ириков, Качур, Волынец, Голубь.

Майоры: Захаров, Гуркин, Каргин.

Капитаны: Лобахин, Коплебенко, Егоров, Гашенко.

Ст. лейтенанты: Фильшин, Кузнецов.

И, кроме того, по автоделу капитан Иванов, по ГО полковник Чебураков, а перед сборами пришли: майор Шкурупий и подполковник Слинко.

По именам-отчествам никого не называю, не положено было студентам курсантам знать их. Только обращение: «Товарищ капитан», да за спиной – капитан Гашенко. И как нам втолковывал тот же, только что упомянутый капитан: «Товарищ Гашенко вы мне говорить не имеете права. Это по-партийному.»

Лагеря и сборы мало чем отличались от «военки» вообще. Так ведь назывался у студентов военный день. Еженедельное Восьмое марта для студенток. Разве что без цветов, подарков и подданных мужичков. Но им и так было неплохо. Я, конечно, имею в виду студенток, а не студентов. Единственно – слишком часто, они и забыли в конце концов, что это драгоценный дар, считали своим законным правом. Да бог с ними.

Поговорим о мужчинах. Остриженных, охаянных парнях, попадающих еженедельно из царства науки и техники в казарму. А особенно в «первый учебный цикл», так по военно-кафедральному именовался второй

институтский курс. Тут были все главные прелести : ать-два, как стоишь в строю, шагом марш, «Я на вас, товарищ студент, просто поражаюсь». Один из афоризмов незабвенного капитана Гашенки.

Кто жил в измайловской общаге, особенно девчонки да иностранцы, наивно считают черным символом военки своего коменданта Гуркина. Ласло Пандур говорил: «Мы его называем Дуркин», и искренне считал, что это очень позорная кличка. Истинно русские люди находили в своем лексиконе куда более злые эпитеты и обороты, но всё равно. Гуркина может ругать тот, кто никогда не знал Гашенку.

Гашенко не ругали, как Гуркина, на него в остолбенении таращили остекленевшие глаза. В мозгу торчал неразрешимый вопрос, неужели в этом мире всё нормально? Если да, то почему мы попали сюда, или каким образом на институтскую кафедру занесло этого невероятного в своих высказываниях капитана. Что вообще творится на свете? Военный день всё же кончался, изумление по дороге домой выходило истеричным смехом, но на ругания или пересказ просто не хватало моральных сил. И фантазии. Трудно было придумать что-то более обидное для капитана Гашенко, чем то, в чем он подавал себя сам. Его просто цитировали.

«Чем бы дитя не игралось, лишь бы не тешилось». «Вы нам тут показываете сон рябой кобылы». «Выйти из строя, кто здесь выше меня. И по уму, и по образованию». «Киреев, вы в какой армии служили?». «Завелась Контр Банда». «Если Жумаханов сдаст зачет, я ему позволю плюнуть себе на лысину». «Как идет атака? С лозунгом соответствующим – за родину, за партию. У окопов противника автоматы на изготовку, если кто добежал.... Потери неизбежны». При объяснении системы «Улитка», он пытался несколько раз разбить квадрат на девять клеточек (три на три). Получалось шестнадцать. Наконец капитан положил мел, повернулся так, чтобы заслонить собой злополучный квадрат и резюмировал: «Ладно. На экзамене этого спрашивать не будут, а вам все равно не объяснишь». В завершение остается добавить, что латинскую G в наименовании американской винтовки он называл во всеуслышание «Цэ с крючочком».

Может быть, эти фразы в пересказе и не выглядят такими уж нелепыми и смешными. Но вообще-то они вырваны из оттеняющего их контекста и лишены самого главного – исполнения автора. К слову сказать, мы совсем не иронизировали по поводу его украинского акцента, в общем-то с русской грамматикой у Гашенко всё было благополучно. В армии ведь говорили по-русски. Да и любой акцент или дефект тут же забывается, если человек говорит умно и по делу. А у капитана Гашенко вроде бы все правильно, и строго по уставу, а нет-нет да чего-нибудь брякнет.

Поэтому майор Гуркин (он провел у нас пару занятий, подменяя Гашенку) совсем не оправдал наших ожиданий и опасений. Слухи-то и тогда о нём ходили – о-го-го! А тут ничего особенного: вполне может связать два слова, и даже больше. Ну, нетерпим! Ну, громогласен! Так кого этим удивишь на военной кафедре? Ведь даже сам начальник первого цикла - полковник Катровский, при официальном поздравлении нас от лица кафедры с 23м Февраля не сдержался и начал орать: «Сейчас водку будете жрать за Красную Армию, а служить не хотите!».

Так что Гуркину не удалось затмить нашего Гашенку. Наоборот, мы майора даже немножечко, капельку, зауважали. Такая же метаморфоза произошла попозже с подполковником Качуром. Пришел – поразил своей грамотностью. Не отошли же еще от Гашенко... Но потом постепенно добавлялись новые майоры, подполковники, и тем более лейтенанты. Ив. Ив. Качур блек, тускнел, окрашивался в уже знакомый сапожно-гимнастерный цвет, а к «третьему циклу» выглядел в наших глазах в той же компании, где-то по соседству с Гуркиным и Гашенко.

Конечно, можно много зубоскалить над тучностью капитана Лобахина, странной замкнутостью и отрешенностью подполковника Волынца, пофигизмом майора Захарова, внезапными перепадами либерализма и дотошной придирчивости старшего лейтенанта Фильшина.... Но! В этом ли дело?

Лобахин, например, был умнейший мужик и далеко бы пошел, отнесись к своей карьере серьезно, без заскоков и загулов. Неплохо выглядели и самые младшие по чинам Сергей Кузнецов и Александр Фильшин. Не знаю, может и испортились потом, выйдя в старшие офицеры?

Я хочу сказать, что «военка» от курса к курсу постепенно утрачивала дикость и бредовость, становилась более удобоваримой. Разумеется до определенного предела! Вряд ли найдется студент, который в конце обучения полюбил эту кафедру. Разве что какой-нибудь сдвинутый?! Хотя, чуть-чуть забегаю вперед, могу сказать, что ребята с ТК (в отделении ефрейтора Дрёмина) сами без понукания уже в лагерях затеяли поднимать боевую подготовку. Репетировали вечером на скорость отбой и подъем. Всё бывает!

Я говорил, что острота неприятия военной кафедры снижалась по мере прохождения тамошнего обучения. И сборы в Кинешме, таким образом, выглядели не венцом унижения, а просто долгожданной последней жертвой, за которой, наконец, последует искупление.

«Выезд тремя колоннами. Руководитель первой – подполковник Голубь. Руководитель второй – майор Гашенко, что еще за смех! Руководитель третьей – подполковник Слинько. Начальник сборов – подполковник Качур», - так объявил в актовом зале зав. кафедрой.

Да, Гашенко к тому времени получил долгожданного майора. В день первого появления с майорской звездой всё утро до занятий простоял на лестничной площадке. Якобы покуривал, и со всеми входящими на кафедру студентами вежливо здоровался. Далеко не каждый обратил внимание на его погоны, кто-то лишь удивился, чего это он здесь торчит, но слух есть слух – поразительную новость скоро узнали все.

Подполковник Слинько, обративший на себя внимание неожиданной новизной появления, скоро прославился на все сборы своими подлянками. Он был патологически убежден, что нет, и не бывает, честных добросовестных студентов, все они сволочи и жулики. Если студент в противогазе, он обязательно открутил трубку от коробки. А если подполковник Слинько это не обнаружил, значит он, гад, успел быстренько ее прикрутить. Все равно наказать! Если на занятиях по техобслуживанию студенту приказали заменить смазку, и никто не стоял за спиной, студент, без всякого сомнения, ни в коем случае не удалил старую. Напихал новую поверх старой и заслуживает взыскания. Не беда что доказать ничего нельзя!

Кстати, майор Шкурупий, пришедший одновременно со Слинько, наоборот, воплощал на сборах редкое для офицера кафедры здравомыслие. Его разумные замечания свежего человека, еще не вошедшего в тонкие условности учебного процесса, и знающего предмет не вообще, а в натуре и собственном опыте, могли вызвать у наших, казалось бы непробойных, студентов даже легкую краску стыда. Не знаю, сохранились ли в дальнейшем у майора эти его завидные качества.

Добавлю заодно, что тому же майору Шкурупию было доверено самое ответственное (уже без кавычек) дело – провести без потерь учебные стрельбы. После прошлогоднего самоубийства никто не хотел рисковать. И вот теперь стреляли мы из пистолета, а майор стоял «глаза в глаза» и держал в полузахвате свои ручищи. Шевелить можно было только указательным пальцем. Любое легкое движение в кисти или локте, и курсант повержен и обезоружен. На любые результаты стрельбы в таком положении можно было наплевать. Я, например, ни разу не попал даже в мишень, но никто не расстроился. Главное – не застрелился!.. Но довольно об офицерах кафедры, вспомним о курсантах.

Отправлялись мы с площади перед Ярославским вокзалом, уже там топали строем. Навеселе были только некоторые наши сержанты, остальные в полной норме. Подполковник Качур должен был быть доволен. Он нас припугнул загодя: «Если вы посмеете явиться пьяными к памятнику Владимира Ильича Ленина!...» Дальше долгая пауза. Вероятно, нам грозило что-то ужасное, чего нельзя и вообразить, но чего – никто уточнять не стал. Предпочли исполнить, как приказано. Что мы делали в эшелоне, не помню, вероятно, ничего особенного: погрузились и скоро завалились спать. Не отложился в памяти и вокзал города Кинешмы, не тем, видимо, были заняты мысли.

Первое запомнившееся впечатление – обмундирование. Все облачаются в хаки и становятся громоздкими, габаритными, непохожими сами на себя. Какими-то большими и одинаковыми. У меня, конечно, проблема с сапогами. Зауженное армейское голенище не желает натягиваться. У старшины метода одна – дает сапог на размер больше. Потом на два. Затем и на три. В результате кое-как, с голенищами в гармошку, а сапоги не по размеру – как ласты. В общем – не хуже чем у капитана Лобахина. Так и ходил. Местные офицеры из части морщились, наши с кафедры каменели лицом и глубоко вздыхали.

Дорога колонной в лагерь. Эта запомнилась хорошо, ходили мы потом по ней не раз. И на присягу, и в баню. Когда с песней, когда насупившись и по щиколотку в грязи. Лето выпало сырое, дождь неделями лил не переставая. Через несколько дней и уже до конца месяца не вылезали мы из шинелей. Идем бывало, подвываем хором: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди», а старшина наш Лыков громко бормочет под нос: «Пройдут, пройдут! Топайте».

Я назвал старшину Лыкова. Это не прапорщик из местной кинешемской части, а наш МИХМовский студент. Один из тех, кто из сотоварищей и единомышленников превратились в первых наших гонителей. О таком мрачном сюрпризе нас предупреждали дружки со старших курсов. «Не бойтесь преподавателей, бойтесь сержантов. На старую дружбу не надейтесь! Задолбят они вас так, что мама родная не узнает». И давали совет, искренний по намерению, но нелепый по сути. Мол, набейте заранее морду своим одноклассникам из отслуживших в армии. А то в лагерях не получится, а после лагерей уже не захочется.

Женька Якоби, помню, посмеялся: «Ну что ж, давай побьем Шуру Калёнова». Вряд ли можно было найти более неподходящую кандидатуру. В общем-то, Каленов физически был не слабак, гипотетическое его избивание не выглядело бы, как издевательство над беззащитным, несомненно, он дал бы крепкую сдачу. Но скорее бы сперва изумился. Его искреннее открытое лицо, всегда вежливые, а порой и просительные интонации в голосе при общении с однокурсниками.... Воплощенное доверие и дружелюбие с примесью неподдельной наивности, легкая добыча для любителей всевозможных приколов и подначек. Представить Каленова в роли сержанта-издевателя было просто невозможно.

Кстати сказать, Шурка им и не стал. Скорее наоборот, необузданное зубоскальство его подчиненных доставило много неприятных минут самому сержанту Каленову. Он был командиром третьего отделения в нашем правофланговом взводе, и мы из первых рук знали, например, историю с заземлением палатки во время ночной грозы. Курсанты, с благословения своего сержанта, соорудили среди ночи «громоотвод» из ремня, ведра и фляги...

Третье отделение было «не совсем наше», то есть механики, но бывшие неорганики. Конечно, знали мы их, так или иначе, по всяким картошкам, общагам, овощным базам, но учились на разных потоках. Юрка Алексеев, Вася Трояков, Бизунов Андрюха (муж Нади из нашей, Н50 группы). Еще двоих, Силина и Пахомова, я до лагерей не знал, но другие где-то сталкивались. И уж вопреки правилам военной кафедры – Женька Роговой и Коля Фредов, оба из той же группы, что и Калёнов. Вот уж не досмотрел кто-то из

составителей, а может быть, просто проспал. Труднее предположить, что специально придали их Каленову, зная его характер, не по всем пунктам отвечающий требованиям военной кафедры. Если так, то вообще опростоволосились! Шурке как раз больше всего доставалось от его одноклассников.

Второе отделение – уже почти родня. Группа Н58 в полном составе от Бадаева до Москвина. Плюс двое из нашей – Якоби и Филимонов. Самое большое отделение, самая тесная палатка. С соответствующими шуточками. Но вот у них был сержант – не позавидуешь! Нелепый Коля Рыбин по прозвищу «Базилио». Маленький рост, черные очки, легкие, чуть заметные усики. И какой-то красновато-желтый неровный загар. В общем, было что-то весьма напоминающее Ролана Быкова в «Приключениях Буратино».

Дело конечно не во внешности, а в противном характере. Рыбина расплющивало непомерное самомнение. Вероятно, он потаенно воображал себя по меньшей мере полковником, которого зачем-то принудили играть роль командира отделения. Где только можно и невозможно, уклонялся Рыбин от исполнения возложенных на него обязанностей; не было во всем учебном МИХМовском батальоне более разболтанного сержанта. Но при этом его курсанты обязаны были понимать, какое им выпало счастье, что он ими командует. И чтобы не забыли – сплошной рой мелких и мелочных придирок.

Был этот Коля у меня разводящим во время суточного караула в части. Надо было видеть и слышать, с каким удовольствием он отдавал команды, а еще большим – мешал допить до дна кружку чая или на минуту-другую сидя смежить глаза во время бодрствования в караулке. Правда, часов через шесть Рыбин утихомирился, ненароком пальнув в воздух из автомата. Пришлось ему до конца суток запихать своё самолюбие в боковой карман. Помню его севший голосок, который услышал из-за еще недоприкрытой двери, когда он обращался к начкару лейтенанту Котову...

Зато наш командир отделения – Александр Адамович – был тих, но грозен. Его побить предварительно, для профилактики, вряд ли бы кто рискнул. Хоть во время памятного случая с Ваней Булычевым, он и сказал в шутку: «Ребята, я хороший», на деле, не сомневаюсь, он смог бы отбиться и от всего отделения разом. Но это попутное замечание. Был Адамович сержантом с хорошим чувством меры. Правда, посмеивался при заезде: «Теперь, друг мой Лутов, ты пропал!», а пропал бы Женька Лутов, попади он в лапы к какому-нибудь другому сержанту, позднее. И мы все заодно нахлебались бы. А так, Адамович наш редко повышал голос, с ним и без того предпочитали жить мирно. Это было нетрудно, на какие-то мелочи он мог посмотреть снисходительно.

Командир нашего первого взвода первой роты Сергей Мишин тоже не потерял голову от власти на один месяц. И то сказать, он носил самый большой чин из наших очинённых студентов, был настоящий, с армейским стажем, старшина. Не такой, как Ваня Булычев, которого произвел из сержантов в старшины подполковник Качур. До сих пор не понимаю, кому понадобился этот маскарад – добавлять лычки за три недели до выхода в лейтенанты. Новоиспеченное старшинство Булычева мало чем отличалось от самовольства Манушарова. Командир одного из отделений второго взвода Манушаров, как его полушутливо-полусерьезно называли – Нодар Иванович, вернулся из армии просто рядовым. В лагерях ему вдруг захотелось, и он взял да и пришел к своим гладким погонам по две лычки. И до конца сборов именовался, в том числе и офицерами кафедры, младшим сержантом Манушаровым. По всей видимости, ему это было приятно.

Я отвлекся в сторону, а речь шла о Серее Мишине. Он стал старшиной, так как в армии занимал весьма приметную должность – дирижер духового оркестра. Понятно, что во время своей службы бульдожьих качеств старшина Мишин не приобрел. Тем не менее, знал и умел он достаточно, чтобы командовать нашим взводом спокойно и без нервозности для себя и для нас.

С кем мы еще непосредственно сталкивались? Пожалуй, с замполитом роты. Каюсь, напрочь не помню я его ни по имени, ни по фамилии. Вообще бы не запомнил, что был у нас такой в лагерях, если бы не обедал он за одним столом с нашим отделением. Одно осталось в памяти кроме столовой, что появлялся этот замполит всегда не вовремя. Только какая-нибудь пауза, спокойный момент, а то и вообще, подшили по свежему подворотничку и начистили сапоги, как он – тут как тут. Надо ему чего-то тащить, волочь, переставлять. Куда курсантам деваться? Ругаются, а делают.

Вернусь к началу, к тому, как воспринимали мы наши лагеря. Конечно, не как каторгу или зону строгого режима! Всего лишь, как растянутую на месяц канитель, которую главное – отбить до конца. Всё относительно, абсолютно одно – проходящие дни. Пусть будет что угодно: подъем по сигналу, топание в поле на занятие, бесконечные построения, дополнительные работы – лишь бы эти дни проходили побыстрее. А не тянулись, как нудное ожидание неизвестно на сколько опаздывающего поезда. Поэтому, например, сутки в карауле тихонько радовали. Вот идем-бредем мы в часть, там как-то поволим, а вернемся в лагерь уже завтра! Как бы завтрашнее число, можно считать уже наступило. День из календаря сбрасываем уже сегодня.

В принципе, положи руку на сердце, занятия на сборах были совсем не трудными. Мозги не утомляли и жилы не выматывали. Но нам они ужасно не нравились. Главным образом тем, что всё это мы где-то, когда-то уже проходили. Всё уже записано по конспектам и ждет последнего часа – завершающего экзамена. К экзамену, а уж это-то дело привычное, мы как-нибудь посидим-подготовимся, но здесь в поле, разумеется,

ничего не стараемся запоминать. Это много, нудно и главное – бесполезно. Спрашивать ведь будут, не что ты делал 13 июля, а только то, на что ответить придется именно по конспекту. Так что занятия – пустая беготня и трата сил на таскание на себе шинели, сапог, защитного комплекта и автомата. Никто ведь не собирался уметь управляться с АРСом или ТМС, про них всего-навсего полагалось чего-то наговорить; как выражался майор Захаров «рассказать историю». Вот примерно таким было общее настроение – скорее бы всё это кончилось.

Но это самое «скорее» наши сержанты понимали несколько иначе от рядовых курсантов. Они хотели не просто скинуть с плеч этот экзамен военной кафедры, но оказаться среди тех, кто сдаст его в самую раннюю дату. Таких дат было назначено три. Их можно легко понять, наших бравых сержантов: даже при слабом знании предмета экзамен оставался для них простой формальностью. Выправка и военный билет вместо приписного – солидный довесок на весах «справедливости по-армейски». А вот всем прочим приходилось раздираться в собственных устремлениях: или побыстрее отстреляться, или лишний денек поготовиться? Знали мы, знали, что и без «фронтовых льгот» всё равно сдадут все. Но коленки всё же подрагивали. Очень уж многое было поставлено на одно единственное мероприятие.

Какой взвод когда сдает, определялось не с бухты-барахты, а местом, занятым в соцсоревновании. И конечно же, самым существенным пунктом в этом соревновании была победа в строевой подготовке (кто бы сомневался). В день смотра наш комвзвода сидел за завтраком грустный. «Что, сегодня вылетим в трубу?» - спросил он как бы самого себя. Я знал, что вопрос обращен ко мне. Можно, конечно, валить на сморщенные сапоги 47 размера, как в присказке про плохого танцора, но правда колола глаза. Даже в лаковых сапожках от любой «Саламандры», и даже в балетных тапочках, я, увалень от природы, не прошел бы лучше.

«Сдай меня на кухню!» - пошутил я, думая, что этот вариант вряд ли выполним. У Мишина двинулись брови, появился блеск в глазах. «А ты не обидишься?» Я только рассмеялся. Мишин разом поднялся с места и удалился вдоль ряда столов. Вернулся быстро – пойдем. Я пошел за ним, в самом деле ни капли не расстроившись. Какая разница : мыть миски и ложки или топтать перед строем офицеров кафедры. За полчаса с меня не убудет, лишь бы день прошел спокойно.

Ложки мыть не пришлось. Старший кухонного наряда, сержант Книжников, или по уговору, или по безразличию к чужому «штрафнику» дал мне легкое задание – убраться в палатке, в которой хранили мясо. Потом отослал к ребятам, колющим дрова. Топор был один, а их и так трое... короче, оставалось просто ждать, когда Мишин меня вызволит. Но ждать пришлось до самого обеда. Зато взвод взял не что-то там, а самое первое место.

Старшина Мишин счел произведенный опыт весьма продуктивным и перспективным. Через десять дней строевой смотр был повторен, а к тому времени другие взводы существенно поработали над своим строевым шагом. Особенно с серьезных факультетов. Но тщетно! На этот раз на кухню были спрятаны сразу трое, кроме меня еще Бадаев и Пахомов. И снова первое место. Вот что значит взаимопонимание между курсантами и сержантами.

На кухню, разумеется, приходилось попадать не только из-за хитрых подпольных комбинаций, но и просто по наряду. Также как стоять под грибком или охранять лагерный автопарк. Что лучше, выходить на занятие или отбывать наряд? Сказать откровенно, все хорошо в меру. Как я уже говорил, лишь бы день прошел. Но что правда, то правда – в наряде день тянется куда медленнее.

Но не на кухне! Вот там головы поднять некогда. Да еще вечером надо не прокопоситься, успеть вовремя завалиться спать. Мы ведь не сержанты, среди которых находились любители побродить после отбоя. Наше дело – дрыхнуть, и с утра «шагом марш». То есть напрашивается простой вывод : нет в лагерях места хуже кухни. Напрашивается, да не вытанцовывается!! Есть у нарядчиков на кухню одно огромное преимущество. На целый день они превращаются в штатских. Работа есть – это да! Работы полно. Но нет ни команд, ни строя (вне которого солдат – не солдат), ни офицеров кафедры, на них ты в этот день можешь смотреть хоть через правое плечо, хоть сквозь прищуренный глаз. Ты под благовидным предлогом (в туалет) можешь пройти в этот день по лагерю совершенно один и не торопиться возвращаться назад.

Ради такого глотка свободы можно денек почупахтать в сальной воде жирные миски! Все познается в сравнении.

Так что, не крепко нас пугали всякие грозные «наряды вне очереди». Знали мы их, видали, и морщились больше для проформы. Да и не так много перепадало их на долю каждого. Опять же, конечно, не нужно обобщать. Вот, например, все тот же Женя Лутов, который побывал на кухне семь раз за месяц сборов.

Женя Лутов и военная кафедра – это особая тема. Если, не зная, перебрать все прозвища, которые высыпали на его бедную голову (батка Лутов, Лютый, атаман Дутов, «Командор») представится фигура некоего громила со зверской физиономией. А был это - тихий паренек с тонким голоском и невинными глазками. Но с упрямым характером, таким, что, выбрав для себя некую точку опоры, становится на нее раз и навсегда. Для Лутова такой точкой стало неприятие порядков военной кафедры. Он числился в последних разгильдяях, но при этом не пытался делать вида, что старается, силится, пыжится соответствовать тому, чего от него хотят сержанты и офицеры. Как бы вообще не понимал, где он и что с ним.

Началось (за два года до лагерей) с того, что Лутов чем-то приглянулся капитану Гашенко. Под горячую руку Гашенко сместил с командиров учебного взвода Командора – Александра Киреева – и поставил Лутова. Половину семестра шла потеха, Лутов пытался командовать, Киреев дулся, остальные вольничали. Тогда-то прозвище Командор и перешло от Киреева к Лутову. Наконец на взвод назначили Калёнова, и балаган прекратился.

В лагерях Лутов не изменился. Он не был сознательным нарушителем, просто по нескладности у него всё выходило не так. Вот и получилось, что восемь раз его гоняли на кухню. Правда, отбыл он там только семь. Снисходительный Манушаров, до этого не раз донимавший Женьку нескромными вопросами, отослал его из своего наряда, великодушно заявив: «Пуськай Лютов атдыхает!». (Мы это узнали мимоходом от курсанта Красавина, тоже своего рода лагерной знаменитости. Того самого, который обстрелял из автомата с вышки местного прапорщика. Прапорщик, правда, оказался упрямым, его же дня через три Маслов взял на мушку, и вызвал разводящего).

А вот до белого каления довел Женька Лутов другого сержанта, по имени Иван (его фамилии мне узнать не пришлось). Несколько человек из нашего взвода по неведомой причине пригнали на кухню перед самым ужином. Кажется, был перебой с подвозом воды, и наряд не управился с помывкой. Мы всей толпой стояли над мойками, когда вбежал этот сержант Ваня. Он, судя по всему, уже весь был издерган своим неудачным дежурством и очень торопился. «Брось эти кружки, разводящие давай!» - крикнул сержант. На беду он обратился к Лутову.

Наши отслужившие армию сержанты усиленно культивировали в разговоре солдатский жаргон, который мы, в общем, понимали, но старались не копировать. «Разводящие», то есть черпаки, выдаваемые на столы, и были кусочком этого жаргона. Но Женька Лутов, случайно или намеренно, не понял, чего хочет от него разгоряченный сержант. Он пожал плечами, глянул снизу вверх. «Половники что ли?». «Разводящие!!» - рявкнул Иван и уже сам протянул руку. «Так и скажи – половники» - как ни в чем не бывало добавил Лутов.

Протянутая рука сержанта резко сжалась в кулак. Но рядом с Лутовым стоял Юрка Алексеев, который резко повернулся всем корпусом, двинул плечами и чуть-чуть согнул в локтях к груди обе руки. Дело кончилось миром. Ваня длинно выругался, сгреб «разводящие» и выскочил из моечной. Сержант Ваня был, по всей видимости, горяч, но отходчив. Я вспомнил эту несостоявшуюся стычку в самом конце сборов, на учениях, когда тот же самый сержант метнулся из леса наперерез нашему отделению. Он стоял слегка пригнувшись, с автоматом наизготовку, приземистый крепкий, со вздувшимися бицепсами на руках. Мы поневоле попятились от него, от пахнувшей на нас, его боевой силы. Пожалуй, он смог бы разуделать кого угодно даже поварешкой!..

Зато не повезло другому Ване, старшине второй роты Булычеву. Дело было уже после отбоя. Все в нашей палатке улеглись, но еще не спали. От палатки третьего отделения (через одну от нашей) внезапно донеслись выкрики, невнятный шум, топот. Игорь Родохлеб, мой сосед по нарам, первым выскочил на шум. За ним потянулись другие. Всех, кто не успел выскочить сразу, наш Адамович вернул лежать. Шум постепенно затих, всё утомилось.

Произошла маленькая потасовка. Старшина Ваня, проходивший мимо палатки, услышал разговор и сделал замечание. Ему ответили резко и в красках. А так как Булычев был слегка «под газом», у него хватило ума ввалиться прямо в палатку для выяснения. Там в темноте и состоялось «взаимное рукоприкладство». Набежавшие из других палаток, к своему сожалению, добавить не смогли. Кроме Булычева были другие сержанты (Бекенов, Рыбин) и враждебные стороны удалось быстро развести. Тем более, что на следующее утро был запланирован подъем по тревоге.

Кстати, об этом подъеме. Когда били Ваню Булычева, палатка второго отделения опустела полностью, но один курсант все-таки спал. Уснувшим, а вернее проснувшимся с запозданием, был Евгений Якоби. Он проснулся, увидел, что в палатке пусто, и справедливо заключил, что тревога уже началась. Когда курсанты возвращались в палатку, им навстречу вышел Женя в полном облачении, в сапогах, шинели и с противогазом через плечо.

И все-таки Ваня Булычев был и оставался любимым старшиной подполковника Качура. Может быть за имя, подполковник величал Булычева - Иван Батькович. Но сомнительно, были в лагере и другие Иваны (например Сырна, старшина третьей роты). Скорее, за общее пристрастие к главному развлечению – перетягиванию каната. Начальник сборов действовал по известному принципу: «У курсантов не должно оставаться свободного времени». Поэтому он устраивал бесконечные построения, на которых выступал сам на всевозможные важные темы. Но это, так сказать, по служебной надобности. А вот в перетягивание, тоже проводимое не единожды, подполковник Качур вкладывал душу. Он проводил его лично, сам следил за результатами, и первым его помощником в этом ответственном деле был старшина Булычев.

Последний день сборов, сдача х/б, шинелей и сапог, переодевание в гражданское, остался в памяти общей суматохой. Все резвились, как выпущенные на волю щенки. Но больше от зуда нервов, так как нетерпеливо ждали, когда, наконец, тронемся из оставляемого навсегда лагеря. И снова колонной, с песнями. Но уже не «не плачь, девчонка», а «надоело воевать» и «слава тебе господи».

В поезде ехали тихо, утомленно. Только в соседнем купе выл под гитару, не своим голосом, упившийся сержант Рыбин. Он упился не с радости, всё шло к тому, что ехать Коле в те же лагеря на следующее лето... А с другой стороны зудела в ухо нескончаемая беседа-препирательство Манушарова и Фильшина. Нодар Иваныч грозил, что вот получит лейтенанта и придет работать в институт на военную кафедру. А Александр Михайлович (уже к тому времени капитан) терпеливо возражал, что, мол, милости просим, но когда-нибудь потом. Чтобы работать на кафедре, нужен ох какой большой военный опыт.

Раздел 5. Поля и сады Соколовские

Было еще одно достаточно заметное событие в нашей студенческой жизни. Правда, точная датировка этого этапа восхождения к диплому инженера не настолько очевидна. От него не осталось ни официальных записей, ни даже броских цифр на форменных куртках. Но, если сосредоточиться и выудить из памяти отдельные детали, получится следующее: сентябрь 1977 года. А если сентябрь, других комментариев не требуется. Это картошка!

Итак, теплейшее начало осени, Зарайский район, совхоз Чулки-Соколово. Участники... Да, тут опять заминка. Какие же студенты 4-го курса участвовали в этом нашем благородном деле, на полях славного хозяйства? Какие такие факультеты? Тяжелая задача для моего утомленного ума.

И всё-таки начнем с того, что проще. Вне всякого сомнения – машфак и механики. Есть слабые проблески, что были группы с ХАСа. А вот криогенщики и ТКшники? Честное слово, не припоминаю.

А если прикинуть по головам? Занимали мы под жильё два зеленых барака, именовавшиеся в нашем тесном кругу «Московская зона» и «Канатчикова дача». Как говорится, выбирайте, кому что любо.

Идем дальше. Наша комната – в «Московской зоне» - носила 10 номер. (Было дело, пели в куплетах: « А в палате номер десять... и т.д. ». В общем – что-то там куда повесим. Кто помнит – тот помнит, а уточнять сейчас ни к чему. Не всем может понравиться). Исходя из нашего номера и вспомнив расположение самой комнаты по общему коридору – всего их получится двенадцать. А второй барак – брат-близнец первого, только, что зеркально расположен. Стало быть, занимали михмовские студенты и студентки 24 комнаты, не больше.

Теперь ответим на вопрос: сколько людей (разумеется изначально, но об этом позже) поселилось в нашей 10 комнате. Ровно четырнадцать.

Стало быть – 24 на 14 – совершенно очевидно 336 человек. То есть, после всяких округлений и поправок на всевозможных непростых, кто на картошке не был, получается ровным счетом - половина курса. Цифры неточные, но вполне достоверные. На том, за неимением лучшего, и порешим.

Осталось отдать дань памяти нашим вдохновителям и заступникам. Руководили нами Шерышев Михаил Анатольевич (он же «Усы») и Иванов Валерий Антонинович («Черный ворон» или «Бриллиантовая рука»). От боевой военной кафедры, на страх своим, чтоб чужие боялись – майор Захаров (Эрнест Саркисович) и капитан Фильшин (Александр Михайлович). Следующим летом, в кинешемских лагерях, были они уже майор и подполковник, но до этого пока далеко.

Кроме того, в штаб входили: инженер-самбист Пал-Николаич Кронов и еще один неприметный сотрудник, которого Димка Зыков окрестил «Борманом». Этот человек пробыл недолго. Был он большой любитель почитать и день напролёт не расставался с раскрытой книгой. Видно, кому-то такое не понравилось.

Мы, кстати, настолько активно мусолили эту кличку, что Шура Калёнов принял ее, без особых рассуждений, за подлинную фамилию тихого книгочея. Во всяком случае, он с неподдельным простодушием спросил майора: « А куда исчез Борман?». Тот с разбегу начал что-то разъяснять про настоящего нацистского главаря, потом сообразил, плюнул и послал Калёнова куда подальше. А Иванов В.А. тут же шепнул нам по-свойски, чтобы мы Бормана лучше не поминали, и заодно назвал настоящую фамилию выбывшего «начальника». (кажется Матюшин, но могу и ошибаться).

На место Бормана прибыл еще один самбист – Владимир Александрович Жаворонков. Он же одновременно и гитарист, и веселый ловелас (в пределах допустимого, разумеется).

Чтобы не забыть, были еще два молодых сотрудника по линии ВЛКСМ – Эленгорн и Беляев. На этой ноте тему начальства можно и завершить.

Вернусь в солнечный день отбытия, к большой колонне автобусов вдоль улицы Лукьянова. Особых митингов и проводов не было. Радовались ли мы, что отъезжаем на картошку? В общем, да. Во-первых – погода блеск. Во-вторых, занятия откладываются на целый месяц, и это, как ни крути, а приятно. В-третьих, все знали, что едут всего лишь по указке сверху, не на заработки, поэтому работать до упаду не придется, а будет – так – небольшая экскурсия в деревню. В-четвертых – приятная компания.

Вот на приятной компании можно теперь и остановиться. Четвертый курс – это уже ветераны. Более старших в институте практически не осталось, их и не видно за теми новобранцами, которые пришли уже «после нас». А им еще расти и расти...

МИХМ уже изучен вдоль и поперек, преподаватели и те, сплошь и рядом – старые знакомые. Так что же тогда говорить про свою собственную группу? И даже больше – про весь поток! На курс конечно замахиваться не стоит, среди однокурсников с других факультетов вполне еще найдутся таинственные личности, вроде Андрюхи Васильева, но так будет и впредь, до самого выпуска.

Итак, автобусы, и вокруг лица: сплошь знакомые, весьма знакомые и чуть-чуть знакомые. Как, оказывается, много народу, и как многих из них ты знаешь. И в первый раз в таком обширном обществе мы отправляемся куда-то все вместе. В первый раз за три года! Вот уж несомненно, предстоит что-то очень интересное. А может быть даже и захватывающее. Там поглядим!

Конечно, так думали не все. Хотя и плачущих навзрыд среди нас не было. По другой причине, но не было там и самых догадливых. То есть тех, которые по-своему решили задачу на сообразительность. А именно: занятия на месяц откладываются не только у тех, кто едет на картошку, но и у тех, кто это времячко спокойно проведет дома. Была бы уважительная причина. Понимали ли мы, отъезжающие, что состав наш не совсем полон? Вернее всего нет. Точнее, даже не думали о таких мелочах. И просто посмеялись бы над тем, кому бы пришлось в голову нас просветить. Не ехать на картошку? Да с какой стати? Вот еще глупости выдумаете.

На центральную усадьбу совхоза наш «эшелон» прибыл благополучно. Разумеется, началась обычная чехарда по размещению и расселению. Но поскольку это было только Начало, никто особенно не томился и не страдал. Проскакивали шуточки на разные лады, в основном пытались обыгрывать странное местное название. Надо же так умудриться - «Чулки»! В пересмешках, однако, далеко не заходили, всего лишь «Носки», «Портки», «Портянки», «Лапти» и не более.

Конечно, пока суд да дело, порыскали мы в пределах возможного по ближайшим закоулкам. Я по стройотрядовской привычке утащил два десятка крупных гвоздей. Там поблизости сколачивали деревянные сортиры (как выяснилось, не для нас) и стоял бесхозный ящик с этими самыми «гвоздиками».

В ход раздобытые гвозди пошли быстро, в тот же вечер в нашей десятой комнате. Кровати и постели нам, разумеется, выделили, а вот с вешалками и тумбочками было откровенно никак. Таким вот манером пролет стены справа от двери украсил длинный ряд наколоченных гвоздей. На них мы развешивали всю амуницию.

И еще один гвоздь был использован особо. Его согнули буквой «П» и пристроили в готовые скобочки на место утраченного либо кем-то снятого крючка. Так он и служил нам верой и правдой вместо замка до последнего дня, до памятного вторжения майора Захарова.

В общем, конечно, в первый же день всё было налажено. За исключением деликатного вопроса с уличными отхожими местами, коих было три обособленных сооружения. Знаменитые букочки «М» и «Ж» организаторы несколько раз перевешивали с места на место, и на первых порах случались глупые накладки. Но и тут всё быстро пришло в норму.

Первая неделя сентября выдалась курортная. Днем стояла такая жара, что в поле работали в купальниках, а вечерами купались. Речку Осетр переплывали туда и обратно – и ни капельки не мерзли. Соответственно было и настроение.

К нашим баракам прилежала полоса яблоневого сада. За ней – накатанная колесами дорога и еще одна такая же полоса плодовых деревьев. Дальше уже заборы, изгороди, сады-огороды местных жителей и их дома.

В первый же день огласили правило: «До проезда ешьте, что хотите, дальше не лезьте». Но, как можно догадаться – там, где разрешено, взять было нечего. То ли загодя убрали, что вообще-то сомнительно, не до яблок полудиких было совхозу, то ли кто-то жил в этих бараках до нас и всё общипал. В общем, захочешь яблочка – переступай запретную границу. А она охранялась. По первым дням за яблонями доглядывали какая-то бабка и громко, во весь голос, обличала злоумышленников «шакалами».

Но яблоки в эти погожие теплые вечера никого всерьез не интересовали. (Скажем лучше, их время еще не наступило). Сад был хорош, как место прогулок и посиделок. Еще не оскудели привезенные запасы, было что прихватить с собой. И вот, в ранних сумерках, тихие компании устраивались где-нибудь в сторонке под уютными яблонями.

Темнело быстро, и сад оживал. Голоса, смех, перебранки, а местами и пение. Некоторые компании разбредались, ходили «в гости» к соседям от кружка к кружку. Общались, хвастались, клялись и каялись. В общем, изливали душу и делились радостью.

Не помню, каким образом, но в час отбоя всех всё-таки загоняли по местам. Это было, и строго исполнялось. А за хождение ночами в неурочные часы кое-кто даже крепко погорел.

Утренний подъем был тяжеловат. Очень не хотелось поднимать голову от подушки, вылезать из-под одеяла и тащиться завтракать в столовую на другой конец деревни. Но как ни странно, руководители наши на этом пункте, в отличие от отбоя, особенно и не настаивали. Хотите поспать, не ходите на завтрак, лишь бы в поле вышли. Кстати, не все и работали с утра, так как были мы разбиты на две смены – до обеда или после. Поэтому бывал хороший повод пропустить завтрак. Только наша комната такого себе не позволяла!

Впрочем, подъем нам устраивала одна особа с жестким характером – Танька Желтоухова, подруга Москвина. Сам Миша Москвин с утра поднимался не легче любого из нас, но и он уступал чувству долга, не позволяя даже самому себе ворчать на Татьяну. Другие тоже поневоле блюли этикет. Правда, один раз был испробован «ход конем» - с вечера вывернули лампочку. И утром: «А ну вставайте!», выключатель - щелк! И никакого света в глаза! Но, дудки. Возле двери стоял наш комнатный магнитофон, его спрятать не догадались. И тут же по ушам дала плясовая музыка, да так, что лучше бы уж лампочка.

Завтрак, как впрочем обед и ужин, злющая совхозная повариха готовила неплохо. Злость ее заключалась в другом – не смей жаловаться на малюсенькие порции, оборёт, обложит, да еще и шумовкой замашнется. Лопай, сколько положили, и какой тебе еще добавки!? Потом уж, по мере обживания, получалось иногда кооперироваться с девушками. Им этих порций хватало, а иногда и вообще шли они за нежелательный излишек. Вот тут вся проблема - оказаться вовремя за соседним столиком.

Ведь со столиками тоже не всё так просто, как можно подумать сгоряча. В столовую строем было идти не обязательно. Напротив - как кому вздумается, хоть одиночкой, хоть в компании, хоть на палке верхом. Но только до дверей обеденного зала! И тут – стоп. Вход в столовую только шестёрками. То есть, чтобы вошли сразу шестеро и сели непременно все за один стол.

Конечно, логичен и объясним такой порядок, но нам это казалось смешно. Смешно и нелепо, и вообще несправедливо. Где советская власть? Где права человека? Но ничего, покипишь, потом похихикаешь: «Любимое число капитана!». Получалось почему-то так, что чаще всего на шестерки нас разбивал именно Фильшин.

Шло на завтрак блюдечко каши, стакан какао и непременно два вареных яйца. Каши мало, а вот яйца с утра ну никак не идут в глотку. Разве только одно. Поэтому второе, чтобы не пропало, мы захватывали в карман – в поле.

В поле это яичко приходилось кстати, но при одном условии – суметь расколупать его и почистить. Если бродишь с корзинкой по убраным полосам, его не найдется обо что стукнуть, разве о каблук. А едешь на комбайне – другая проблема. Помню, встал наш комбайн на очистку барабана. Выпала пауза перекусить, значит достаём припасённое. И потихонечку, маленькими кусочками отколупываем скорлупу. Я пристроился у колеса и вдруг обратил внимание, что девушки, толпившиеся в двух шагах, как-то резко затихли.

Покосился и увидел вытарашенные от изумления глаза Мастюковой. Глянул на собственные руки. Да, картинка! Пальцы, покрытые чернющей коркой грязи, держат совершенно черное яйцо. Причем черное оно и там, где еще осталась скорлупа и там, где скорлупа уже очищена. Действительно, ужас.

Впрочем, это только кажимость. Мы уже приноровились. Обколупываем скорлупу так, чтобы уцелела пленка. Пленка, разумеется тоже покрывается чернотой. Но потом, когда скорлупы остается только на четверть, пленка прихватывается за кончик и одним движением отрывается. И получается – белое яичко в черном стаканчике. Его и надо скушать зубами, не касаясь грязного стаканчика. При некоторой практике дело вполне реальное.

А что же еще делать, если перчаток нам не положено и воды для мытья рук по всякому поводу не запасено? Как-то вот так, с небольшими доморощенными трюками. Фокус-покус на фоне картофельного комбайна.

Именно комбайна... Первую неделю и даже несколько больше мы работали на комбайне. Вышло это как-то импровизированно. В самый первый день, с утра, пока всё было в тумане и мы на краю поля среди других недоуменно озирались по сторонам, какой-то веселый парень позвал: «Ну, кто? Ребята пойдемте, тут рядом». Как потом оказалось, это был тракторист Володя.

Мы думали, что требуется какая-то физическая помощь: закинуть, передвинуть или что-нибудь в этом же роде. Прошли сквозь дымку, смутно выступило что-то крупное, громоздкое, а из-под него чье-то бурчание. Володя тоже нырнул под комбайн, мы в недоумении стояли рядом. Через какое-то время тракторист появился: «Что стоите, поднимайтесь». Мы забрались по лесенке на верхнюю площадку. Вокруг еще не развиднелось, даже трактор впереди комбайна только угадывался. Естественно, между нами начался какой-то пустой разговор. Особенно бойко тараторил Володька Кощеев.

И вдруг снизу донеслась отборная матерщина. Обращались несомненно к нам, обвиняя в безделии, высокомерии, тупоумии и прочих смертных грехах. Впрочем стало это понятно далеко не сразу, смысл витиеватых фраз прорезался и обозначился постепенно. Одно было понятно, говорил человек от души. Естественно мы слегка приутихли.

Механизаторы заправили наконец сбившуюся ленту, успокоились, выбрались наружу. «Ну что, поехали?» «А мы!»

- А вы, - тракторист Володька быстро поднялся на площадку, подхватил откуда-то картофелину на длинной ботве. - Картошку туда, остальное – сюда.

И продемонстрировал наглядно, как это должно быть. Тем временем пожилой комбайнер взгромоздился на своё сидение... Затарахтел трактор. Мы переглядывались, вид у нас вероятно был ошалелый. Комбайнер успокаивающе покивал головой.

- Вы ребята не волнуйтесь. Вот он, - кивок в сторону, где уже стало кое-что видно, и в том числе Юрка Бадаев с корзиной в руках, - ни фиги не заработает. А вы заработаете!

Кошечев переглянулся со стоявшим рядом с ним Женькой Якоби, и они оба пожали плечами. Мы трое с другой стороны: Серега Крючков, Игорь Родохлеб и я, тоже промолчали, но тут на переборный стол пошла картошка. И руки наши сами поневоле протянулись к ползущим клубням.

Поле это видимо было скудное на урожай, поскольку иначе не понять, почему мы в первый день вполне справлялись впятером. Тогда как в последующие дни, работы на комбайне хватало и на восьмерых. А когда и с избытком. Но первый день тяжелым нам не показался. Тепло, ясное небо, вокруг суета и суматоха, движение комбайна чередуется паузами, в которые можно уже спокойно потрепаться. Больше наши разговоры никого не раздражают. А вот наконец и автобус! «Пока, ребята!».

- Ты им фамилию-то свою скажи, - говорит тракторист. - А то они знать не будут, когда записывать придется.

- Кузнецов! Василий Федорович, - солидно представился комбайнер. И тут же добавил: - Запомните, а то здесь есть еще один Кузнецов.

Конечно, мы никуда ничего писать не собирались. Для этого из края в край бегал Кронов с блокнотом. Да еще Борман, в придачу, бродил вдоль кромки поля со своей интересной книгой.

На второй день произошло знаменательное событие. К нам присоединился Шура Калёнов.

Первый день при корзинах и мешках ему, как видно, пришелся не по вкусу. И еще в автобусе он доверительно шепнул:

- Я сегодня с вами.

А когда высадились, вчерашний комбайн первым приметил Женя. Он крикнул:

- Дядя Вася, мы здесь.

Дядя Вася великодушно подъехал поближе. Поле на этот раз было новое, картошка пошла валом. И довольно быстро Калёнов заметил с нотками разочарования:

- Дядя Вася-то, оказывается передовик.

Кто его знает, передовик он был или нет, но повадки имел те самые. Как только бункер на комбайне наполнялся, полагалось посигналить грузовику, чтобы он подъехал и забрал картошку. И наш дядя Вася не ограничивался тем, что поднимал вверх деревянную лопату. Он лопатой этой вовсю размахивал, да еще орал не жалея глотки. Какими словами, пересказывать не буду, но не успокаивался, пока машина не становилась под бункер. Ссыпали и скорее дальше.

Вероятно, был он всё-таки из лучших. Как говорила со смехом Ира Синявская: «Ваш- то что, вот у нас совсем дурной. За него два дня Маринка Дмитриева комбайнером ездила».

День шёл, а Калёнов всё бурчал, не успокаивался. Наконец побежал к капитану, который в этот раз был на нашем участке. И через какое-то время привел в подмогу нам двух девчонок. Причем, говорили, выбрал их он сам. Почему-то не из наших трех групп, а с неорганики. Постепенно уяснилось, что звали их Нелли (Наиля Аюпова) и Лена (Богатырева). Девчонки эти работали с нами на комбайне до самой свеклы. Таким образом и сложилось подобие бригады, которое сам Калёнов гордо именовал «бригадой Калёнова».

Трактористы же называли нашего «бригадира» главным механиком. При остановках на очистку или наладку он непременно крутился возле мужиков, а потом рассказывал нам, что обнаружил «две» или сразу «четыре» неисправности. И иногда даже дядя Вася доверял ему помахать грузовику деревянной лопатой.

Из самодельных импровизированных анекдотов «бригада Калёнова» переключалась в общую стенгазету, а затем даже и в почетную грамоту, которую в виде исключения вручили не кому-то индивидуально, а всем нам разом.

Димка Зыков писал в своей песенке (на мотив то ли Визбора, то ли «Веселого ветра»):

А рядом уж комбайн чинил Калёнов Шура.

Калёнов Шура, Калёнов Шура.

Не доломал еще комбайн Калёнов Шура,

Но нам с комбайном тем не по пути...

Но сентябрь есть сентябрь. Начались затяжные дожди. И выяснилось, что отправляясь на сельхоз работы, мы понимали не всё, что должно было понимать. Разумеется, никто не рассчитывал на летнюю погоду осенью, все привезли с собой и сапоги, и свитера и телогрейки, и вязанные шапки. Но только не длиннополые непромокаемые дождевики. Зачем такое безобразие? Неужели мы собираемся работать под проливным дождем? Вот пройдет, выглянет солнце, тогда пожалуйста. Видимо, нашлись те, кто озвучил эти настроения в уши нашим михмовским начальникам.

Руководство «Чулков-Соколово» думало иначе. Перед нами выступил сам директор. Суть его речи сводилась к тому, что государство поручило убрать картошку, и мы это сделаем. Даже если придется выковыривать клубни вилами из-под снежных сугробов.

Слушали мы хмуро, но поневоле усмехались. Снег? Чего-чего, а до конца ноября нас здесь точно не продержат. Так что снег будете разгребать без нас. Никто еще не подозревал, как мы заблуждались.

Но слова подкрепились делами. Было постановлено: выдать каждому студенту по полиэтиленовой накидке. Накидок, впрочем, еще не было, но их предполагалось сделать. То есть нарезать куски полиэтиленовой пленки, сложить их вдоль вдвое и один край прошить. В помощь совхозным штатным портнихам выделить двоих раскройщиков (из студентов).

Не знаю, как попал в раскройщики Шура Калёнов. Напросился сам, или просто уже успел оказаться у всех на виду? Вторым, себе в подмогу, он взял меня.

Мастерская на две швейные машинки располагалась в квартире первого этажа. Место для расстилания пленки и отрезки отмерянных кусков – на полу, в углу комнаты. Не особенно удобно, тесновато, трудно разложить без морщин и складок. Тем не менее, кусков десять мы успели отрезать до прихода двух расторопных женщин. Те расположились за машинками, и моментально прошли всё, что мы наготовили. Стало ясно – так дело не пойдет. Портнихи нас не подгоняли, не вмешивались, а только тихо сидели за своими машинками и доброжелательно на нас поглядывали.

Тогда мы отложили в сторону сантиметр. Я взял ножницы, Калёнов встал к рулону. До этого мы раскатывали его на манер ковра, один тянул обрезанный край, другой аккуратно проворачивал за торцы. Теперь Шурка выдернул размотанный конец до высоты своего роста, отправил его через плечо в мою сторону и бесцеремонно сгрёб пленку. Поехали! Он тянул ее вверх рывками, как канат, и бросал размотанные участки себе за спину. На полу у его ног бился рулон.

Я отхватывал куски без всякой мерки, на глазок, ориентируясь по двум приметным доскам пола. Скоро обе машинки были завалены, а еще через час мы уже складывали готовые накидки. Были они тогда прозрачные как стеклышко, а вот к концу месяца приобрели цвет слегка разбавленного кофе.

С дождями что-то переменялось в расстановке рабочей силы. Нас всё чаще стали отправлять на сортировку, на объект именуемый КСП (картофельно-сортировочный пункт). Изначально там в основном работал Машфак. Но не исключительно, поскольку, как припоминается, меня добавили к уже опытным ребятам, и не с Машфака, а из неоргаников. КСП представлял собой довольно солидное сооружение с транспортерами, лентами, лотками и бункерами. Все это под шиферной крышей, а рядом кирпичное здание местного хранилища. Мы, впрочем, заполняли не его, а гнали картошку прямо в подъезжающие машины, которые уходили на станцию. Там мешки грузились в вагоны. (Грузила вагоны особая бригада. Среди этих грузчиков, насколько я знаю, был Саня Черемных. Работали они от темна до темна, и кстати, только они и получили за свою работу реальные деньги. Так что насчет «заработаете» дядя Вася или сочинял, или заблуждался.).

По первому разу я попал в напарники к Ковалеву Сашке, старому, но полузабытому знакомому. Мы с ним реально не общались практически с Камаза. А теперь именно он просветил меня, как здесь, на сортировке принято закидывать в машину мешки. До того, в поле, мешков водилось мало. Много ли их нужно на подборке по следу комбайна? Поэтому, когда в конце смены просили помочь загрузить картошку, поступали кто во что горазд. Пыжились, закидывая в одиночку, или наоборот дурачились – двое мешок держат, третий снизу подталкивает.

Здесь на сортировке мешки шли потоком. Было их столько, что подошедшая машина закидывалась разом. Поэтому понятно, что такую работу приходилось делать быстро. Парно, двое – каждый со своей стороны, хватают мешок «за уши» и одним рывком – на борт машины. И отскакивай, следом уже кидает мешок другая пара. Возвращайся и становись к очередному мешку, ждать некогда, вперед.

А вокруг всё гудит и крутится. Время от времени из немерянного бурта ковшом засыпают картошку в три приемных бункера. Она бежит на резиновые вальцы, там делится по крупности, мелочь транспортерами затаскивается под самый потолок в приемники. Крупная едет по лентам переборных столов, а там в лоток и в те самые мешки. Конвейер!

Впрочем, картинка эта из более поздних дней, когда на сортировку перебрались все. В первые, разовые заезды, мы попадали не на основную сортировку, а к дополнительным передвижным установкам, по всей видимости на авралы, в моменты, когда с потоком картошки не справлялся основной стационарный КСП. И через денек-другой возвращались в поле.

Второе возвращение на поле обернулось сюрпризом. Нас перебросили на кормовую свеклу. Дожди к тому времени уюмонились, зато по утрам стало заметно примораживать. Туман ложился гуще и держался дольше. Край поля мы нашли только по голосу агронома Альбины и майора Захарова. Чтобы разглядеть свекольную ботву пришлось наклониться почти до земли. Так и двинулись в сплошном тумане, каждый видел только свою полоску и очередной корнеплод. Выванная свекла летела и шлепалась уже где-то за пределами видимости. Не слышалось ни голосов, ни криков, только пыхтение тех, кто возился на соседних грядках.

В новинку, с разгону дело прошло резво. К тому времени, как туман разошелся, самые ярые дёргалышки свои грядки уже добились. Опять же, любому было понятно, что обогнавшие получают право сидеть и дожидаться, пока не завершат свой проход и все остальные. Для кого-то это было стимулом, кто-то предпочел не торопиться. Так или иначе, задание всем было одинаковое, пройти по две грядки. Но со второй

конечно спешить не стоило – быстро сделаем, покажется, что мало. Однако инициатор продолжения всё-таки нашёлся! Даже не удивительно, что это был Александр Калёнов.

До этого он отходил, о чем-то спрашивал ту же Альбину-агронома. Конечно, видя это, мы хихикали – нет комбайна, который нужно обслужить, так Калёнов в агрономию ударился. Никто пока не догадывался, что на наших глазах затевается лихая авантюра.

Но вот Шура вернулся сияющий, чем-то воодушевлённый и бодро возгласил: «Хватит сидеть, вперед». И пошел драть свеклу. Потихоньку-полегоньку поднялись за ним и остальные. Уже с охами и ахами добились до второй гряды. Больше нас на эту свеклу не выводили, но мы – бригада Калёнова – еще побывали здесь дважды. Пожалуй, сразу и стоит рассказать, как это произошло.

Но немного предисловия. На картошке у нас, как я уже рассказывал, сухого закона не было. Были неоговоренные, общепринятые рамки приличий. То есть не афишируй, не болтай и не попадайся. Одним словом, веди себя аккуратно, а всё прочее – как сумеешь.

Мы, собственно говоря и старались, как могли. Первоначальные запасы разошлись сразу, денег с собой было немного. Я имею в виду «бригаду Калёнова», а еще точнее – себя, Игорька и Женьку, то есть нашу троицу. Сам Калёнов, как недавний молодежь, приехал с пустыми карманами, Кошечев в делах питейных держался особняком, а Серега Крючков вообще не употреблял спиртного.

В деревенский магазин с нашими «капиталами» соваться было бессмысленно, что там оставалось на полках было или не по карману, или не по рылу, или и то, и другое разом. Всё приемлемое, как нам пояснил тракторист Володька, в деревне расходилось сразу, поскольку здесь все друг другу «сват-брат-ухват». Но через несколько дней, в честь студентов, в магазин выгрузили целую машину специфического продукта, в том числе несколько штабелей «Плодово-ягодного» и «Золотой осени». Это было не совсем ТО, но по сочетанию цены и крепости устраивало. Не задумываясь мы взяли 15 штук, практически исчерпав всю наличность. А к моменту выхода на свеклу, эти ресурсы давно ушли в прошлое.

За пару дней до того нам подвернулся «калым». Проще говоря, кто-то заметил, что Бизунов, Масленников и Красавин вскапывают чей-то огород. Догадаться, что делать дальше, было нетрудно. В тот же вечер отыскивали мы заказчицу на перекопку двух грядок и картофельной полосы. Единственный «минус» – оплата натуральными продуктами: буханка хлеба, лук, несколько сырых яиц от домашней курочки и две поллитровки очень крепкого фиолетового напитка. Калёнов в подработке участвовать не пожелал, сказав, что согласится только за деньги.

Поэтому четвертым мы взяли Кошечева, и пока вдвоем перевернули полосу, Володька со стоном и проклятиями умирал над двумя грядками. Потом он сказал, что больше в такое дело не вяжется, но это решение, как показало будущее, пока было нетвёрдым.

На бережку, впрочем, сидели вшестером. Тех двух девчонок по молчаливому единогласию не приглашали, они к тому времени с нами уже не общались, и вообще перешли работать с поля на кухню. В Шуркиной бригаде, следовательно, остались одни мужчины. С ними он и начал обсуждать свои планы. Дескать, нечего терять время, а тем более калымить за всякую дребедень. Здесь обязаны быть реальные подработки и их надо найти. А ему обязательно надо подработать! В этом и заключалась, как потом выяснилось, тема его разговоров с Альбиной.

Первая халтурка оказалась простецкой. В тот же вечер мы пришли на свекольное поле и накидали тракторную тележку уже убранной свеклы. Оплата прошла без обмана, тут же две дамы, кассир и агроном, заполнили ведомость, в которой мы расписались и нам выдали деньги. Калёнов сиял, как начищенный пятак и призывал, когда нужно, обращаться к его бригаде.

Миновал день или два, произошел обмен сменами. Теперь мы с утра отсыпались, после обеда работали. И вот Шурка объявил, что он договорился! Если утречком выйдем и на той же свекле надергаем каждый по две грядки, получим раз в пять больше чем за ту погрузку. Решили выйти, причем дали согласие и Крючков, и Кошечев.

С утра пораньше Калёнов объявил подъем. Утро было хмурое, пасмурное, небо в серых тучах. Шли мы быстро, чтобы согреться на ходу от пронизывающего ветра. И только принялись за свеклу, как крупными хлопьями повалил густой снег. Минут двадцать мы пробовали не обращать на него внимания. Но он ложился плотно, облепил со всех сторон нас, покрыл шапками свеклу и всё продолжал валить и валить.

Первым подал голос протеста Кошечев. Не поддержать его было трудно, мы моментально озлились и на Калёнова, и на самих себя. Шурка посмотрел всем в глаза и смирился. Выбрались на дорогу. Она была, как белоснежная махровая скатерть. Глубокие тракторные колеи были засыпаны вровень с краями. Пока мы добрались до своей комнаты, не раз с криками и проклятиями проваливались в эти ямы.

Соседи по комнате еще не вылезли из-под одеял. Они встретили нас насмешками, но гораздо больше было искреннего сочувствия. Только Андрюха Васильев долго не унимался. Мне и сейчас слышится его голос с легкой картавинкой: «Как же, как же. По две грядочки, в охоточку!».

Снег после обеда начал таять, к вечеру повалил снова, так что утром все было белым-бело. Но через день вернулись дожди и первая пороша благополучно сошла, чего не скажешь о непролазной грязи.

Комбайны теперь загребали землю большими комьями, их на переборном столе порой было больше, чем картошки. Откидывать их стало трудно, мы просто не успевали. Комбайнер дядя Вася негодовал: «Как можно такие комки не заметить?» Мы, конечно замечали, но всё откидывать просто не хватало шустрости. Да надо признаться, что и настроение было уже не то.

Погода не радовала, окончательно утвердился холод. В бараках запустили отопление, посиделки на речке прекратились. Вечерами теперь темнело рано, с ужина возвращались в сумерках, всю попухивая ручными фонариками. Разумеется те, у кого они были. Женя светил большим калёновским фонарём, который обязался потом привезти хозяину. Дело обстояло так, что наш бригадир нас покинул, оставив бригаду на «комиссара».

Комиссаром мы провозгласили Кошу (Кошеева) в память о том дне, когда он «не дал нам замерзнуть в сугробах». Несмотря на свою ироничную натуру, по-моему, Володька принял это звание с глубоко затаенным внутренним одобрением. Впрочем, «бригада» сократилась не только на Калёнова, одновременно из наших рядов выбыл и Игорь Родохлеб.

Произошло это не самым лучшим образом. Работали мы в очередной раз на сортировке. Картошку загружали в огромный прицеп тяжелого «Кировца». Этот прицеп был оснащен само захлопывающимися бортами на мощных пружинах. В момент погрузки откинутый борт закрепляли специальными фиксаторами.

Игорь принимал мешки в прицеп. Одну кучку закидали, трактор поехал ко второй, Игорек остался в прицепе. На какой-то кочке борт внезапно отцепился и захлопнулся. Руку, оказавшуюся между бортом и стойкой, он успел выдернуть. Но железная челюсть откусила всё-таки самый кончик самого длинного среднего пальца. Разумеется – обильная кровь, медпункт, бинты...

Вечером боль стала дергать руку, у нашего раненного начался озноб. Майор, ознакомившись с ситуацией, выдал НЗ – бутылку водки. Дальше, несмотря на невеселый повод, начался почти концерт. Возле Игоря хлопотал Калёнов. Он держал в руках стакан и закуску – краюшку черного хлеба. Наливал Игорю очередную порцию, с легкими уговорами аккуратно подавал стакан, тут же совал под нос корочку - занюхать и отрезал кусочек мякоти на закуску. Разумеется, Игорька быстро развезло, внешне он успокоился, начал что-то объяснять нам всем, толпившимся вокруг. И как-то быстро заснул.

На следующий день, простившись с подругой, Игорь отправился в Москву. Но Шурка хлопотал возле него не зря. Он ехал сопровождающим! Упаковал рюкзак, оставив фонарь, кофейник, бушлат, и получив обещание с тех, кто что ему привезет. Вышли они с Игорем на дорогу, а навстречу попался капитан Фильшин. «Не волнуйтесь, товарищ капитан, я приеду!» - крикнул наш бригадир и главный механик. Капитан слегка усмехнулся: «А рюкзак зачем?». «Вещички постирать!». Но я в тот же день обвел имя Калёнова в черную рамочку.

Что это была за черная рамочка?

Выше я писал, что с картошки не сохранилось никаких официальных записей. Сгинула даже наша бригадная почетная грамота. Но один «документ» я всё-таки сберег. Он висел в нашей комнате с первого дня, потом к нему прибавились одна за другой две стенгазеты, боевой листок, самодельный ёрнический лозунг... Это всего-навсего график дежурств по комнате, который я взял себе на память. Для чего?

Прежде всего, на нем сохранился номер нашей комнаты - десятый. Кроме того, фамилии, причем в том порядке, в каком стояли наши кровати. (Вот эти фамилии: Якоби, Родохлеб, Рыженков, Фурин, Зыков, Жданов, Кошеев, Бадаев, Махмутов, Роговой, Васильев, Москвин, Калёнов, Крючков). И наконец, даты. Были мы на картошке с понедельника 5 сентября ровно по 5 октября. Это кстати подтверждает, что год был 1977.

Но это еще не всё. Интересен характер отметок о дежурствах. Среди нас было установлено смягчающее правило: если кто-то не сумел отдежурить по комнате, ему прибавляется еще один день. И таким манером дальше, пока он не выполнит эту работу – главным образом не вымоет полы. Мы ведь возвращались в грязных сапогах и какие становились полы, понятно без слов. Так по этим отметкам видно как росла наша апатия. Начинаящие дежурили по два дня, потом пошло по три, по четыре. И наконец восьмой дежурный – Махмудов – дежурил 10 дней. Практически до конца, когда он в конце концов, подготовил комнату к сдаче, вывезя почти двухнедельную грязь. Помнится и ведер воды ему потребовалось для этого тоже десять – по одному на каждый из пропущенных дней.

График этот был одновременно и нашим календарем, крестиками дежурств заодно отмечались прошедшие дни. А затем я по своей инициативе стал наносить особые пометки, об убогих.

Первым уехал Серега Фурин, у него случился приступ аппендицита. Дело обошлось благополучно, но закончилось операцией. Занятно, что та песенка Зыкова начиналась с Сереги:

Навстречу нам, по борозде Серега Фурин.

Серега Фурин, идет и курит.

Смотрите люди, вот идет Серега Фурин

И вслед за ним всегда готовы мы идти.

А следом за Серегой наш коллектив действительно покинул сам Дима Зыков. Он успел поработать в поле, сделать маленькую стенгазетку для нашей комнаты, большую, общую – вывешенную в столовой, и после нее получил то ли разрешение, то ли поручение съездить в Москву. Когда мы спросили его, охота ли ему мотаться туда-сюда, он ответил вполне открыто: «Главное – отсюда». И как только стало ясно, что Димка не вернется, я внес в график дежурств новые пометки: с какого дня выбыл боец и фамилия – в рамочку.

Кроме названных четверых не дотянул до последнего дня и еще один человек – Андрюха Васильев. Вернее, как значилось в графике дежурств – Васильев А.В. (как я выяснил сейчас по справочникам Андрей Витальевич). Или как его обозначил в стенгазете Зыков – Ночной Анекдот.

Были там еще – Бессмертный Анекдот (Кошечев), два Бородатых Анекдота – Костя Жданов и Рашид Махмутов, оба носившие бородки, и Смачный Анекдот – Юрка Бадаев, которого все считали толстым. На самом деле он был плотный круглолицый парень, очень сильный – штангист-разрядник – и очень добрый.

Так почему Андрюха – Ночной Анекдот? И кто он был вообще такой – студент Васильев, ставший на месяц нашим соседом?

Судя по всему, у Васильева сложились весьма натянутые отношения со своей группой, если он предпочел поселиться с чужими. С нами он тоже общаться не собирався, поскольку добровольно избрал себе службу ночного сторожа. Ночами он обходил дозором наши бараки, днем спал.

Но кто бы слышал, как снисходительно звучал его голос, когда он спускался со своих вершин к нам, недалёким и недоразвитым. Ему, познавшему все тайны искусства, якшаться со всякой бездарью! Правда, действительно, были у него сборники переводных стихов, каких-то современных английских поэтов, заумных и эротичных одновременно, но я ни разу не видел, чтобы он их читал. Может быть, конечно, он знал их наизусть, но для чего тогда привез? Москвин, например, один из немногих, с кем Андрюха соглашался общаться, таскал с собой записную книжечку, исписанную английскими словами, и то и дело в нее заглядывал. Тут всё было понятно, парень этот четко знал, что работать ему предстоит за границей. И все остальные тоже это понимали.

А Андрюхины сборники в его отсутствие иногда читали мы сами и от души ржали над сальными поэтическими намеками.

Единственный раз Василев в самом деле приятно меня удивил. Женька Роговой справлял свой день рождения. Девчонки по заказу Желтоуховой нарисовали стенгазету с аистами, небритым голубоглазым младенцем в пеленках и стихами (переделкой «Онегина»). Открыли (неслыханное дело) шампанское. И Васильев начал говорить.

Вот это был тост! Тут Андрюха показал себя действительно мастером. Он говорил спокойно, не торопясь, явно не заучено, а от себя. Но одновременно остроумно и очень душевно.

Много раз потом участвовал я в застольях, но такого неброского, не вычурного, но яркого тоста не слышал никогда.

А о том что Васильев снялся в кино, мне сказал только месяца три спустя, между делом, Костя Жданов. Правда, года через четыре я сумел посмотреть этот фильм, но с весьма незначительным интересом. Больше всего меня удивило, что в фильме «Когда я стану великаном» Андрюха Васильев действительно снимался. Озвучивал его правда кто-то другой и впечатление получилось бледноватое. Его колоритная грассирующая речь сама по себе очень веское дополнение к запомнившемуся мне образу. И обыграй ее режиссер, она несомненно придала бы фильму неплохого колориту..

Попадался потом в институте и сам Андрюха. Здоровался вяло, глядел потухшими глазками и медленно удалялся на пару с каким-то своим приятелем. И на обоих длинные, как веревки, одинаковые шарфы вокруг шеи...

Итак, последняя декада нашей совхозной жизни. Работа на КСП, от «бригады Калёнова» одни воспоминания. Нас раскидали среди неоргаников, я работал в паре то с Юркой Черновым, то с Саней Абрамовым, а чаще всего с Андреем Маховым. Меня поразила и навсегда легла на душу его яростная ненависть к картошке, именно к картофельным клубням, как таковым.

Мы не первый день затаривали мешки у лотка, и всегда повторялось одно и то же. Мало помалу, какая-нибудь картофелинка проскакивала мимо мешка, и постепенно у ног скапливалось ведро-другое россыпью. В паузы, разумеется, эту картошку следовало собрать. И стоило мне этим заняться, минут через пять за спиной раздавалось: «Отойди. Техника пришла на поля!». Махов принимался сгребать картошку совковой лопатой и было видно, что он испытывал почти физическое удовольствие, когда эта лопата резала или кромсала клубни. Разумеется, вся собранная таким образом картошка шла в мешок, на машину и дальше. Впрочем, никто уже не обращал на это внимание.

Во всем чувствовалось, что наша эпопея близится к завершению. Было проведено два собрания. Одно комсомольское выборное, на котором народ дружно отказался голосовать за кандидата в бюро – отличника Мишу Лиознова. Проводивший собрание Саша Ковалев только хлопал глазами, девчонки вопили: «Пусть он сначала приедет сюда, в картошке поковыряется». Второе – наградное.

Вручали грамоты, аплодировали. И в самом конце: «Бригад, в общем-то у нас нет, но мы здесь посоветовались...». Короче, грамота бригаде Калёнова, одна проблема, что нет Калёнова.

Мы сказали – вручите комиссару. Коша протянул руку, но Фильшин отдернул грамоту и замахал руками. Володька часто со своим языком с ним цапался. Шагнул было я, но тут уже цыкнул Кронов, которого я оконфузил с яблоками. Грамоту вручили Женьке Якоби.

Вкратце поясню про яблоки. Главным специалистом по ним был силач Юрка Бадаев. С самого начала, раза два он по вечерам тихо появлялся с сумочкой, обходил всех и вручал по два-три яблочка. Мы не отказывались, и вопросов не задавали. Потом такая традиция угасла, и как-то Коша беспардонно попенял: «Что-то Юрец давно никого не угощал». Юрка сказал, что хватит ему отдуваться за всех, пусть кто-нибудь составит ему компанию. Вызвался я.

Но сумочки у меня не было. Не долго думая, я прихватил один из мешков, из расчета, сколько войдет, столько войдет. Чистые мешки лежали у нас стопочкой в углу комнаты, на всякий случай натасканные с сортировки.

Юрка уверенно вывел меня на яблочное место к роскошной Антоновке. Я сразу приступил к наполнению своей тары, а Юрец сказал, что пока побегаёт вокруг, за другими сортами. Когда он вернулся с обвисшей сумкой, мой мешок оказался уже полным. И немудрено, яблок было полно, и все спелые и крупные. Пошли назад, Юрка помахивал сумкой, я взвалил мешок на спину. Понятное дело, отсыпать лишнее было глупо. Подошли к входным дверям.

Юрец заглянул и нырнул в темноту. Что-то ему не понравилось. Но мне было уже всё равно, хотелось побыстрее избавиться от тяжелого мешка и передохнуть. Опять же съесть и яблочка, я, пока их набирал, еще ни одного не попробовал.

Стуча подошвами кирзовых сапог, я вошел в коридор. Чуть в стороне тихо разговаривала группа ребят и девчат, а среди них и Кронов в своей олимпийке. Мне еще показалось, что вид у Павла Николаевича несколько ошарашенный. Но хотелось скорей дойти до комнаты. Там в углу я и сгрузил свою добычу, а Юрка Бадаев появился заметно позже.

Несколько дней мы объедались яблоками, в комнате стоял неповторимый аромат спелых сочных плодов.

Что мне потом рассказал Ковалев... Сразу после нашего с Бадаевым ухода (так уж совпало), всех собрали на беседу. Майор Захаров говорил, что надо вести себя прилично, а то некоторые позволяют себе разные вольности, например, лезут за яблоками. Кронов мягко вступался, говорил, что, если сначала такое и бывало, а теперь уже нет. Потом Захаров ушел, а Кронов остался, чтобы уже от себя воззвать к сознательности. Основная масса студентов разошлась по своим комнатам, некоторые продолжали мирно беседовать с Пал-Николаичем на ту же тему. Как уж сообразил Бадаев, что не надо было входить, не знаю! А я вот не сообразил...

Впрочем, еще дважды мы возобновляли наш заветный мешок с запасом яблок. Правда, заносили уже с оглядкой, чтобы не допустить новой нелепости.

День отъезда запомнился дурацкой стычкой. Шла сдача комнат, постелей, прочего инвентаря. Всякое разное имущество вытаскивалось, грузилось на машины. В конце концов наш барак очистился полностью, в нашей пустой комнате валялись только рюкзаки. До назначенного часа отбытия оставалось минут сорок. Вдруг к нам в комнату заглянули Кронов и Иванов. Они звали нас на подмогу второму барaku, который затынул с погрузкой. Мы «из принципа» уперлись.

Через несколько минут Кронов зашел еще раз, с тем же результатом. После его ухода дверь защелкнули на гвоздик. Снаружи кто-то подергался, всё затихло. Мы переглядывались и тревожно прислушивались. Вот раздался голос майора Захарова: «Почему не идут? Да не может быть». Дверь слегка дернулась. Все собрались с духом, чтобы не сробеть.

Гвоздь слетел с жалобным звоном, и майор вошел. Вернее даже не вошел, а остался в дверях, заступив в комнату только одним сапогом. Захаров казался совершенно равнодушным, не сверкал глазами, не раздувал ноздри. Он сказал:

- Завтра будем разговаривать в кабинете у ректора. Захватите свои студенческие билеты... Кто не понял? Сейчас же ступайте грузить.

Повернулся и вышел. Женька Роговой сказал с кривой усмешкой:

- Если хорошо попросят, почему не сделать.

И все потянулись цепочкой по коридору и на улицу. «Дерьмо вы, ребята», - сказал Кронов, стоя недалеко от нашей двери. Не знаю как у других, у меня эта фраза оставила вечный холодок, который всегда ощущался, когда бы мне в будущих временах не приходилось пересекаться с Павлом Николаевичем.

В самом начале я писал, что в первый раз в своей студенческой жизни мы отправлялись куда-то все вместе целым потоком. И даже двумя потоками. Оказалось, что это иллюзия. Не способствовала картошка ни контактам, ни общению. Более того, с девушками из своей же группы, жившими в другом бараке, мы виделись издалека, а заглянули в их комнату на огонек лишь однажды, и то мимоходом. Правда, и встречены были соответственно. Меня, например, Рая Зубцова просто и без прикрас назвала дураком. Что уж говорить

про другие группы или другие мероприятия? Попробовали, было, посетить компанией кино в местном клубе (шли разговоры, что пустят бесплатно), так вытолкали в шею.

Нет. Тесный мирок отдельной комнаты, отдельной «бригады». Днем поле или КСП, вечером домино. Либо сон с утра до обеда, и работа до вечера.

В общем, всё как всегда, и так дальше, дальше - до самого диплома.

Раздел 6. Синенький скромный дипломчик

Все пять лет, пока я учился в МИХМе, мои знакомые и полужнакомые интересовались – а какая же всё-таки у меня специальность. Отвечать было тяжело, поскольку ответ ожидался в одно слово, но не помещался даже и в два-три. А моя мама, когда ее однажды спросили, на кого учиться ее сын, помолчав раздумчиво, брякнула – «на котельщика».

И такое смутное представление тоже было неспроста, оно коренилось на вполне осязаемых причинах.

Когда мы начинали учёбу, наша учебная группа относилась к Органическому факультету. Точнее, он назывался «Механический факультет органических производств». К пятому курсу механические специальности Органического и Неорганического факультетов объединили. Факультет стал просто Механическим. Похожим манером изменилась надпись и на профилирующей кафедре. Правда, тут не производилось никакой реорганизации. Просто Дмитрий Дмитриевич Зыков передал заведование кафедрой Виктору Павловичу Майкову.

Профессор Майков поменял название. И «Машины и аппараты по переработке топлив» превратились в Кафедру нефтехимической техники. Допускаю, что Дмитрий Дмитриевич испытал при этом некоторое огорчение, но мне, как и большинству моих одноклассников, новое название казалось более звучным, более выразительным, короче – более современным.

Сам профессор Зыков продолжал работать на кафедре. Дважды, на первом и на пятом курсах мы выслушали от него бажовскую притчу о Тимохе Малоручко. С одним уточнением. Снисходя к возможной необразованности студентов, Дмитрий Дмитриевич называл самоуверенного Тимоху общеизвестным именем Данилы Мастера. Но сути сказа он не менял – перепробовав множество профессий, Тимоха, наконец, стал углежогом. Имелось в виду – как и вы все, ныне здесь присутствующие. Вот оно, исконное имя вашей профессии.

Помнится, я тогда пробормотал себе под нос подлинное прозвание бажовского героя, но вслух лезть с замечанием не посмел. В первый раз слишком был велик мой восторг от осознания себя студентом, и хотелось видеть вокруг только хорошее и доброе. Во второй – не поднялась рука перебивать почтенного профессора, который казался мне несправедливо обойденным. Впрочем, такое представление продержалось лишь до первой лекции Майкова.

Я уже говорил, что к пятому курсу все мы, волей-неволей прошли безжалостную школу зачетов, защит и экзаменов, и к изучению спецпредмета подошли готовенькими. Каждый, если не думал, то ощущал, что теперь-то нас трудно чем-либо поразить. И особенно не ждали никаких сюрпризов от Майкова, который совсем не блистал представительной внешностью. Никто бы со стороны не сказал, что это профессор, скорее рядовой механик, или даже лаборант.

* Вообще говоря, будучи студентами, мы всех, кто попадался нам на глаза в институте, относили именно к лаборантам. Разумеется, за исключением преподавателей, явного начальства и разных уборщиц и библиотекарей. И стало мне известно значительно позже, что практически вся эта малословная публика как минимум инженеры НИСа, а то и научные сотрудники с кандидатскими корочками.*

Первую лекцию Майков начал с длинного предисловия, но не из области легенд и сказов, а с принципов подхода к научным теориям и сущности познания. Вся похожая философия так или иначе нам уже была шапочно знакома, единственно, Виктор Павлович часто вворачивал новое словечко «парадигма», заменяя им понятия – подход, принцип. Чувствовалось, что он очень любит это слово. Но пожалуй его подход к вопросу действительно заслуживал такого особенного отличительного поименования.

Мы уже к тому времени знали, что химия – темный лес до небес, и в ней не свершалось ничего огромного, достойного войти во все учебники со времен дедушки Менделеева. Что до сих пор так никто путем и не знает, как все-таки действует любой из катализаторов, почему возникают азеотропы и много прочего в том же духе. Состав смеси – и тот нельзя просто замерить приборчиком, бери всё те же мензурки, пробирки, лакмус. А уж если доходит до количественных показателей, караул кричи!

Помнится, Артамонов Дмитрий Сергеевич в бытность нашу на «Процессах и аппаратах» на вопрос, почему так заметно не сходятся экспериментальный и расчетный графики, только улыбнулся своей доброй усталой улыбкой. «Ведь это же не математика! Мы же не квадратуру круга определяем. Здесь такое множество факторов». Да, все «процессовские» расчеты базировались на диаграммах, таблицах и

коэффициентах из других таблиц. Высшей точкой однозначности выступал материальный и тепловой баланс. Дальше шла большая или меньшая неопределённость. Но зато... Зато студенты в этой неопределённости чувствовали себя, как та самая рыба в воде.

На кафедре Майкова (нашей кафедре) занимались в общем-то всё теми же «процессами». То есть разделением и прочей околехимической обработкой смесей, с одним отличием, что смеси исключительно нефтяные. Примерно такого разговора и ждали от Майкова. Сейчас начнет заливать про составы фракций, кривые разгонки, диаграммы фазового равновесия бензол-толуол.

Виктор Павлович начал с экскурса в теорию вероятности!

Да-да, сразу и припомнилось. Проходили мы и этот раздел математики. Словоохотливая Полина Ивановна, ведшая у нас семинары, не особенно и настаивала на глубоких знаниях, так, знайте уж что-нибудь для общего развития. Потом на верхах что-то перетряхнулось, и эстафету по нашей группе принял профессор Лунц. А уж Григорий Львович вел семинары совсем по-домашнему. Всё выходило у него легко и просто, и эта самая вероятность, и следовавшие за ней функции комплексного переменного. Задачки из арифметики и алгебры, что-то уж совсем с обочины большой математической дороги.

И теперь эта вероятность вдруг понадобилась Майкову. За ней последовала информация, подсчитываемая как снятая неопределенность, за ней неопределенность, как мера хаоса. Было очень необычно, даже интригующе, и чувствовалось, что к чему-то всё это идёт, стоит что-то важное за этими побочными теориями.

Наконец, вот и уравнение, настоящее, дифференциальное; подробное его решение с пояснениями (методом неопределенных множителей Лагранжа). И постепенный выход на давно уже знакомое нам число контактных тарелок в колонне, но каким-то весьма необычным способом. Майков принципиально отказывался влезать в механизм процесса, он утверждал, что это знание всегда будет неполным, но его можно обойти, отталкиваясь от более общих принципов, управляющих физической материей. Всё это было очень не по-михмовски.

В самом конце выкладок Виктор Павлович бросил мимоходом, чтобы мы не ждали итоговой простенькой инженерной формулы. Его методика реализуется через машинный расчёт. Просто в столбик, на бумажке таким способом не посчитаешь.

Тут-то я и пришел к выводу, что свалил огромного дурака. Эх, серость наша провинциальная! И преподаватели кафедры тоже хороши. Ну что стоило тому же Зыкову, вместо басен про всеядного недалёковидного Тимоху Малоручко, хотя бы намекнуть, какого рода теории разрабатывает Майков. Да и сам он мог бы снизить для маленькой беседы. Знали бы мы еще первокурсниками, что и для чего делается. И в каком месте непременно пригодится.

Это всё о вычислительной технике, которую я, как таковую, почему-то терпеть не мог. Числил тупой прикладной профессией, вроде бухгалтерии. И, кстати сказать, серьезного внимания на нашем факультете Вычтеху, как предмету, не уделялось.

Первое знакомство проводилось на математике, еще в самом первом семестре, когда семинары у нас вела тусклоголовая старушка Милованова. «Осваивали» мы машину Проминь. Это была огромная металлическая плита, размером примерно в два дивана, вся изрезанная параллельными прорезями. Программа набиралась пластмассовыми фишечками с металлическими хвостиками разной формы. Хвостики эти и втыкались подряд, длинными рядами, в те самые продольные прорези на плите. Короче – подобие типографской наборной кассы. Затем включение – и механическая печатная машинка с приводом выдает на заправленную бумажную полосу несколько строчек результата. Которые, кстати, еще не вдруг поймёшь.

Просто, такая была тогда техника. А большие машины главного вычислительного центра института работали в то время на перфокартах.

Впрочем, и программирование давалось нам соответствующе. Это мы проходили уже на втором курсе, вела занятия Крылова Вера Сергеевна, нервная девушка с довольно-таки специфической внешностью. Изучали мы язык Алгол, и к концу семестра разве что умели написать строчку-другую. Занятия были в тягость и нам, и преподавательнице, единственное, что нас объединяло – желание побыстрее с ними покончить.

И вот после третьего курса наша профильная кафедра вдруг захотела, чтобы летом несколько её студентов прошли практику в вычислительном центре, опять не объясняя, для чего и зачем. Не знаю как-кто, а я побывал в нем только один раз. Можно сказать прямо – встретили нас весьма неприветливо. Мол, если хотите – ходите, будете у нас здесь тряпочкой столы протирать. Но всё-таки показали, как набиваются перфокарты, и даже дали попробовать. Жмешь на клавиш механической печаталки, а преобразованный сигнал даёт команду соответствующему пробойнику – и готово прямоугольное окошечко в картоне. Нажал не туда – всё – запорол карточку. Выбрасывай, и сначала.

В общем, поморщился я, и сбежал в Воскресенский стройотряд. Там у Рязова и Тимонина были права вписать в зачетку прохождение практики. И вычислительный центр остался где-то в тумане. А кто знает, может быть, стоило попробовать. Глядишь – и предоставилась бы возможность поработать с Майковым.

Ведь не одних же гигантов мысли набирал он к себе в ученики. Вот например – Косумов. Приходил он аспирантом на наши семинары - колоритный южанин в черных усах и с целым рядом зубов из чистого золота. Сидел в сторонке, за самым первым столом, усердно записывал, не хуже примерного студента. Вездесущий Володька Маслов всегда здоровался с ним, величая Султаном. Потом довелось мне работать с этим приметным мужчиной в одной лаборатории, когда тот был уже старшим научным, и звался Султан Алаудинович. Не скажу ничего плохого, голова у Косумова действовала великолепно, и вообще он был на своём месте, энергичный, деловой, хваткий, очень ответственный. Но теория Майкова коснулась его слегка, левым боком, и не оставила ни следочка. И именно это было тогда для меня чем-то непостижимым.

Впрочем, чему удивляться. Много позже, уже подписывая мой дипломный проект, Виктор Павлович поинтересовался:

- Колонну свою считали вручную?

Получив подтверждение, ни капельки не удивился, только заметил между прочим:

- Ведь есть же программа.

Я сослался на отказ Цветкова, уже зная, что электронные расчёты идут через него. (Нужно было просто отдать исходные данные, и потом подклеить в записку готовую распечатку). Майков спокойно кивнул. Он был погружен в новые планы, обдумывая расчет кинетики процесса (который и вывел впоследствии), а внедрение в практику уже созданного, оказалось отдано в другие, по всей видимости, достаточно равнодушные руки.

Не знаю, изменилось ли что-нибудь на кафедре в эру персональных компьютеров, что же касается тогдашних расчетов на ЭВМ, проведение их было равносильно преодолению языкового барьера. Требовалось найти умелого переводчика, то бишь программиста, либо самому им стать. Причем, еще добраться до техники, на которой тебя допустят практиковаться.

Это уже потом, на заре девяностых, начальник отдела в фирме «Протек» был вправе вытаращивать глаза на моё простодушное заявление: «На ЭВМ никогда не работал, и даже ни разу не прикасался к клавиатуре».

«Протек» тогда, обгоняя других, шел на гребне волны компьютеризации. Сам он стремительно разрастался, и каждому новому сотруднику завозили новый стол и тут же устанавливали компьютер. Поэтому вопрос был закономерен, хоть, впрочем, и не совсем корректен – меня-то брали работать грузчиком на аптечный склад. Но поинтересоваться мой будущий начальник всё-таки имел право – у меня за плечами были три института (учебный, отраслевой и академический) и аспирантура.

Но что говорить, время уже было другое, и техника другая, и возможности тоже. Когда через полтора месяца встал вопрос о варианте перевода из грузчиков в менеджеры-аналитики, мой незабвенный друг и верный товарищ Юра Васильев натаскал меня во всех премудростях всего за две забойные компьютерные ночи. А еще через месяц величественный Олег Игоревич, некогда так шокированный моим ответом о полном невежестве в вычтехнике, потихоньку прибегал ко мне проконсультироваться, как лучше строить диаграммы и графики в «Эксэле». Был он к тому времени уже заместителем директора.

Впрочем, сказать по правде, я тогда немного слукавил и перехлестнул ради красного словца. За клавиатурой-то мне прежде чуть-чуть сидеть всё-таки приходилось. Когда-то, еще на первых черно-зеленых мониторах, все мы - и старые, и малые сотрудники «Процессов», коллективно гоняли шарики в Хоникс. Модная в те времена считалась игра. Но, справедливости ради, признаюсь, что сам я гонял их не так уж часто, а в основном, толкаясь и комментировал за спиной игрока в толпе таких же болельщиков. Этаким образом происходило на кафедре Кутеповское внедрение вычислительной техники. Ведь теориями, даже подобными Майковским, «Процессы и аппараты» не располагали. (чтобы дать ход новаторам, вроде Ломакина или Олышанова требовался Зыковский либерализм, а не Кутеповская казённостица) Считать-то ведь надо не вообще, а что-то своё, конкретное. И выдумать это конкретное потруднее, чем просто закупить компьютеры.

А если просто – ударно оснащать вычислительными машинами учебный процесс, то, пожалуй, это будет хуже Хоникса. Машина без стОящей идеи – пустая бутафория.

Пример не за горами. Самой продвинутой в плане «машинизации обучения» в наше время была в институте дисциплина сварки – детище Кононова Алексея Алексеевича. Нам на ней никто ничего не преподавал. Мы должны были прочесть методички с изложением курса, по ходу дела, с помощью тумблеров, ответить на два десятка рубежных билетов-проверок, и в конце семестра сдать тестовый зачет на машинах.

Разумеется, все начали стремительно продвигаться в глубь методички, не читая, а только подбирая варианты ответов. Тумблеры так и щелкали. Одно-два занятия, а некоторые уже у финиша. Кононов забил тревогу, стал требовать не только чтения, но и конспектирования. Ходил по рядам, и то там, то сям раздавалось:

- Где ваш конспект? Так... Выключите эту машину!

Кажется, полное исполнение рубежных зачетов в конце концов отменили, но итоговый оставили. И выстроился длинный хвост сдающих по четвертому, пятому и еще бог весть какому разу. Мне повезло, дважды попались одни и те же вопросы. Уже зная по первому провалу неправильные ответы, я со второго

раза сумел угадать правильные. Надо ли говорить, что все премудрости сварки, в том числе даже элементарные термины, я потом осваивал в КБ с белоснежно чистого листа собственного невежества.

И вообще, похоже на то, что машинное обучение действительно только при собственном желании учащегося, а еще лучше, его увлечении предметом. Впрочем, в этом случае сгодится любое. А для пробуждения всего лишь ответственного отношения и чувства долга, требуется в первую очередь равнодушие преподавателя. То есть то качество, которого машина лишена идеально. Ведь люди тем и плохи, что далеки от идеала. А значит, по показателю полного равнодушия даже самый плохой преподаватель всё равно уступает машине.

Но, разумеется, если человеческое участие настоящее, живое, и к тому еще горячее, результат выйдет наилучшим. Причем неважно, какое будет участие, годится любой окраски, хоть положительное, хоть отрицательное. Оба ярких наглядных примера я ощутил на собственной шкуре. Вот как это было.

Преподавательница материаловедения Фадеева Татьяна Александровна по собственному произволу зачислила почему-то меня с самого первого занятия в отличные студенты. Такое случалось и прежде (причем, чаще на гуманитарных кафедрах), но происходило это к концу семестра, или в лучшем случае к середине. А тут - на тебе! - сходу и прямо в лоб! Женщина Татьяна Александровна была активная, боевая, острая на язык, и не было никакой надежды, что она позабудет про своё предвзятое мнение. Пришлось весь семестр ходить по струнке. Экзамен я, конечно, сдал на пятёрку, причем не ей, а Варыгину, но и тут Фадеева нашла минуту сказать мне несколько поощрительных слов и пожелать в жизни всего наилучшего. Но я и так уже был несказанно рад, что этот камень незаслуженной ответственности свалился, наконец, с моих плеч.

А шиворот-навыворот всё вышло с термодинамикой. Семинары у нас вела очень молодая, симпатичная преподавательница со снисходительным взглядом и ледяным голосом. Никак не могу, к сожалению, вспомнить ни имени ее, ни фамилии. Ее неприязнь я чувствовал постоянно, хоть прорвалась она наружу лишь два или три раза. Однако всей кожей уже битого четверокурсника я понимал, расслабляться нельзя, здесь шутками дело не кончится. Предмет знай основательно - иначе крышка. Пустое! На экзамене ничего не помогло, и волей-неволей подумалось даже, что тут не обошлось без черной силы.

Я до сих пор не понимаю, ну откуда он взялся, первый вопрос моего злополучного билета. Не было такой темы ни на лекциях Веселова, которые я посещал на редкость аккуратно, ни, разумеется, на семинаре. Вопрос-то был весьма теоретичен. Дикость ситуации состояла в том, что я отлично осознавал, какого рода требуется ответ, откуда примерно надо вывести нужное выражение, но за отведенное на подготовку время, так и не сумел дотянуть выкладки до вразумительного итога.

И вот – весь исчерканный, покрытый значками лист, легкая тонкая усмешка моей недоброжелательницы. Первый вопрос – полный прокол, что ж, говори по второму. Несколько фраз дрожащим голосом, оговорка – аут! Неудовлетворительно. И самое обидное – нет ведь никакой натяжки, вполне классический случай. Не пришлось ни ловить меня с пристрастием, ни сыпать. Легкая победа, глупое поражение.

Когда я вышел с двойкой, народ обалдел. Они-то думали, что мне светит верная пятёрка. Я не мог сказать ничего вразумительного, так сразил меня непредвиденный билет, только глупо пожимал плечами. Мне тут же накидали шесть самых разных учебников по термодинамике (своего-то у меня не было ни одного), и я их все молча сложил в свой заслуженный портфель.

Дома самым тщательным образом перерыл привезенные источники – что за издевательство, нет ответа на мой вопрос. Просмотрел всё медленно и внимательно, может быть где-нибудь в ссылках, мелким шрифтом, или в приложениях. Ни намека.

И только поздно ночью меня осенило. Нужно было сделать такое преобразование, какого мы никогда не делали – расписать систему уравнений не на трех традиционных величинах, на которых всё строилось весь семестр, а на другой тройке, то есть выбросить один из параметров и ввести на место его энтропию. А потом соотнести между собой два выражения, полученные в разных системах. Если бы я и догадался об этом пути сразу, всё равно ни за что не успел бы проделать такое на экзамене. Либо наверняка наляпал ошибок.

Опять же, я уверен, что кроме найденного мной решения, не может не существовать и более простого. Иначе не попал бы этот вопрос в экзаменационный билет. Ведь не нечистый же, в самом деле, подстроил мне такую кутерьму!

Кроме того, абсолютно уверен я и в другом. Сумей я воспроизвести на экзамене те выкладки до конца, всё равно. Незнание более легкого пути, было бы зачтено, как незнание темы. Случались уже унылые прецеденты. Та же математичка Милованова брезгливо отвергла решение задачи, которое я намеренно удлинил втрое, надеясь продемонстрировать, сколькими формулами владею. Другой раз на черчении старина Воскресенский запутался в моих многостепенных построениях по выходу на координаты точки в сложной изометрической фигуре. И не спасло даже то, что сам он не сумел предложить ничего более простого. Но тогда-то речь шла о выборе между непозволительной пятёркой и четвёркой, той, какой меня в итоге всё-таки милостиво жаловали. А не парой, кстати, так и оставшейся у меня единственной.

Самое обидное, на пересдаче я схватил билет такой простоты, что ответил его сходу, устно, и без подготовки (благо – пересдавал в одиночку, а пятерок на пересдаче обычно не ставят). Ответ всего билета

занял минут пять. И это после всех мытарств с целыми шестью учебниками, и готовностью рассказать о чём угодно. Правда, пересдачу принимал совсем другой преподаватель, кстати также посмеявшийся над моим везением. Вот уж действительно, как будто отменили заклятие. Осталось утешаться, что термодинамику усвоил я – лучше некуда. Жаль, не довелось ни разу воспользоваться полученными знаниями.

Иногда я даже думаю, что тот «неуд» был мне компенсацией судьбы за недавнюю пятёрку по политэкономии, вписанную в зачетку прямо в коридоре, «автоматом». Если не брать каких-нибудь очень блатных гавриков, случай ведь тоже беспрецедентный.

Началось, как всегда, по-дурацки. Назначенное для экзамена время – после обеда – перенесли на утро. И об этом не удосужился узнать только я один (как обычно, не приходил на консультацию). И вот все наши уже сдали, разъехались, а я, топя, как ни в чём не бывало, на сравнительно простой экзамен, столкнулся в коридоре с преподавателем.

Кстати, я не капельки не торопился. Правило: «первому пряник, последнему кнут», в нашей группе не было выражено слишком ярко. Не то что, по рассказам Верки Росляковой, когда их группа съезжалась на экзамен чуть ли не к шести утра, чтобы раньше всех стать в очередь и войти первыми. У нас давно всё было поделено. Команда первого захода (Болденкова, Дмитриева, и несколько других девчонок) обычно была наготове, и их действий никто не оспаривал. А я всегда был в числе тех, кто заходит ближе к концу. Мы не торопились, нервное напряжение постепенно спадало, и когда приходил черед тянуть билет, были уже спокойны как танки. Меня так устраивало гораздо больше, а оценки... В общем - устраивали тоже, хоть и не были круглыми пятерками. Во всяком случае, четвёрочную прибавку к стипендии я получал всегда.

Итак, я не спеша шел на экзамен по политэкономии и столкнулся с преподавателем - Игорем Павловичем Барабановым. Он уже направлялся домой. Посмотрел на меня, как на чумового, хотел что-то сказать. Потом махнул рукой, сделал знак «подожди!» и заглянул в аудиторию. Там шел экзамен чужой группы. Барабанов вошел, прикрыл дверь и через несколько минут вышел. «Я вписал тебя в ведомость, где зачётка?» И это был тот самый Барабанов, который не раз, и не два осаживал меня на семинарах дежурной фразой: «Больше так не говорите. Где вы это взяли?»

Я, помнится, только пожимал плечами. Не рассказывать же, что сам выдумал, поскольку третий год мотаюсь без учебников. Правда, «Капитал» Карла Маркса у меня был. Собственный. И за неимением лучшего, приходилось заглядывать и в него.

Но я что-то очень уж далеко отвлекся от кафедры нефтехимической техники и наших дипломов.

Потому что – теории теориями, энтропия – энтропией, а проект-то всё-таки надо было нарисовать. Карандашом, и на бумаге. А перед этим дважды съездить на заводы – «на практику».

Практику в Ангарск я уже упоминал. Прошла она с приключениями, описывать которые здесь не место. Но для меня, к тому же, началась она и с жуткого заявления – никуда не поедете, пока не рассчитаетесь. Должникам библиотеки командировочные не выдаются.

А я был именно должник! Причем невольный. Проворный Витька Калитеевский, еще на первом курсе, когда мы вдвоем квартировали у моей тетки, вместе со своими учебниками прихватил и мою «Технологию», сдав в библиотеку сразу две штуки. На мне повис долг, который ни за что не соглашались закрыть денежной компенсацией. А где найти, чтобы принести, учебник более чем десятилетней давности, я не представлял.

И вот теперь, помаявшись под неподкупными взглядами библиотекарей, пришлось со вздохом сознаться, что книга-то давным-давно сдана. Произошедшее следом показалось мне настоящим чудом! Из какого-то ящичка моментально выудили карточку, сверили на ней номера с моей, долговой, сложили вместе... и разорвали. Где там твой листок? Езжай, дорогой, куда угодно! Вот это да-а. Дернул же меня ч-черт целых три года учиться, болтаясь между небом и землёй, чем бог одарит. Где подсмотришь, где услышишь, где сам догадаешься. А дел-то оказалось – на копейку.

Далее была вторая практика – в скудный башкирский городок Салават. В трескучие морозы среди на редкость жестокой зимы. Снаряжались туда соответственно. Особенно постарались мы с Евгением – запаслись валенками, обрядились в дворницкие тулупы. И не зря, зачастую на комбинат приходилось ходить сквозь колючий ветер и снег, через наметенные за ночь сугробы.

Ехали мы в Салават теплой компанией – наша четверка и Галка Пугачева с Ирой Синявской. Организовывал практику наш будущий руководитель диплома, добрейший Владимир Степанович Карпов. «Душка Карпов», как выражался Женя. Разместились по всем правилам: девочки направо, мальчики налево, не только в разных общежитиях, но и в разных районах. Нам досталась под житьё кладовка при кухне – очень даже душевно. Девчонок же поместили в какой-то изолятор, и Карпов набегался, утрясая разные конфликты. Пришёл к нам уже под вечер, совсем измочаленный, и повторял только одно: «Ох уж эта ваша Галина Владимировна». А Ирину Георгиевну не вспоминал, значит, досталось ему в основном от Пугачевой.

Разумеется, мы сразу усадили его за ужин, благо, было чем похвалиться. Опыт поездок, опыт стройотрядов – припасов понавозили гору. Наверное, мы смогли бы прожить весь месяц, не вылезая в магазины, если бы случилась такая нужда. Но главное – не количество! Игорь как раз вернулся из дома, из своей родной Находки, с набором дальневосточных деликатесов – мёд, варенье из невиданных ягод, копченая рыбка, прочая живность морская. У меня, как обычно преобладала скромная сытная тушенка.

Володька раздобыл экзотические тюбики со всякой всячиной – паштеты, омлеты, соусы и морсы. Женя не оставил нас без великолепной домашней наливочки бабушкиного производства. От неё впрочем, как и от пива, Владимир Степанович отказался наотрез (хотя потом, на выпускном банкете не гнушался и сорокоградусной).

Впрочем, у нас было и чаю – хоть залейся. На выбор, любых сортов, даже тех, что не купишь в магазине. Поэтому, посидели мы великолепно. Не хуже чем обычно. Присутствие Карпова совершенно не испортило наш вечер, напротив, нашлось, о чем поговорить и даже поспорить. Выглядело это очень солидно, нас он теперь называл только по имени-отчеству.

Практика прошла обычным порядком, если не считать очередного нашего «закидона», через две недели мы скатали на самолете в Москву. Был веский повод, Коша, то есть Володька Кошечев, справлял свою свадьбу. Не хочу врать, образцовыми гостями на этом празднике мы не стали и украшением торжества не были, но своё честное слово – непременно приехать – исполнили без отговорок.

И настало, наконец, лучшее институтское время – дипломная весна. Почти полгода неторопливой домашней работы, когда времени невпроворот, и торопиться совершенно некуда. Всё под руками, не нужно ни искать, ни бегать, ни узнавать, ни клянчить у приятелей учебники, так нужные им самим. Материалу мы понавели с заводов – и сколько надо, и еще сверх того. В общем, сколько влезло в чемоданы. Твори на просторе, хоть слева-направо, хоть сверху-вниз.

Поневоле вспоминались бывшие курсовые проекты. Как мучались когда-то с редукторами на «Деталиях машин», не понимая, откуда вообще берутся бесчисленные размеры, величины толщин, зазоров, просветов. Тогда мы только постигали искусство извлекать цифры из чистого воздуха.

Зато, как потом, во время защиты проекта по ПТМ, сошелся целый кружок недоумевающих преподавателей, чтобы посмотреть на мою фантастически-нелепую и нелепо-фантастическую крановую подвеску. Такого они еще никогда не видели! Что делать, накал я ее за полчаса, приткнувшись в уголке аудитории и поглядывая, то на потолок, то на часы.

Важно было, чтобы не удрал Сильченков, наш консультант. Нужно, жизненно нужно было спихнуть проект по подъемным кранам, и непременно в тот же день. Иначе сыпался на мелкие кусочки весь график. Но проскочил! Спасло меня только то, что добровольно пошел сдавать проект к Целиковской, на что решались лишь самые отчаянные. А Антонина Ивановна оказалась понятливой женщиной, да к тому же высоко ценящей сообразительность чужих мозгов. «Проект дрянь, а голова – золото», – такое ведь не каждый день услышишь.

Или поединок нервов с хитроумным Ляндресом... Впрочем, об этом ни к чему говорить дважды.

С дипломным проектом я решил не валять дурака, сделал его не торопясь и заранее, не откладывая на короткие майские ночи. Хотя конечно, остался верен самому себе – всё по минимуму, «ничего лишнего». Особенно наглядно это было видно по двум запискам одинакового, темно-зелёного цвета, которые мы с Игорем Родохлебом переплетали в одной мастерской. Моя тонюсенькая дощечка, и его солидный основательный кирпич. (Подозреваю, что и бумагу для записки Игорёк выбрал не просто так, а самую толстую). А вот про мою записочку, другую, но аналогичную, еще Сильченков когда-то выразился, что это не записка, а отписка. Хотя, когда я взвился на дыбы, он так и не смог ткнуть пальцем, чего в ней не хватает. Было всё, но предельно сжато и коротко.

Майков же теперь, напротив, посмеялся, и сказал, что такой диплом, как у меня, можно сделать за неделю. Конечно можно. Но если он намекал, что я так и поступил, это предположение было глубоко ошибочно. Чувствуя и понимая, что учеба идет к концу, не стоило напоследок устраивать гонки и нервотрёпку. Ее и так мне хватило с лихвой за пять институтских лет. Больше на такие подвиги уже не тянуло. Не то что милого дружка Витьку, который, чтобы добить свой дипломный проект к установленному сроку, умудрился не спать пять суток подряд. Насмешливый Ким, его руководитель, был тогда, помнится, просто потрясён. Для меня же последние полгода стали давно желанным отдыхом. Ведь если разобраться, я не видел летних каникул целых четыре лета. (Витька впрочем тоже, но он всегда был экстремал, как называли бы это сегодня).

Но хотя времяпрепровождение за непыльной, размеренной работой дело хорошее, нет-нет да закрадывалась мне тогда в голову шальная мыслишка. Думалось же мне, что, если бы лет пять назад, дали бы мне все материалы и такое же дипломное задание, я бы, ей-ей, не хвалясь, за такие же полгода вполне сварганил бы и десять листов, и пояснительную записку ничуть не хуже. Как раз бы разобрался во всех завитушках с декабря до мая. Мало что ли времени? И любезная госкомиссия вряд ли бы заметила подмену. Да. И был бы у меня точно такой же диплом в синюю корочку... Правда, без высшего образования «в придачу».

Но это попутно, а дела, тем не менее, шли своим чередом.

Рецензент, только что расхваливший на все лады проект Игоря Родохлеба (мы защищались в один день и потому шли шаг в шаг), в мой адрес высказался еще резче Майкова. Он попросту не хотел поначалу вообще писать рецензию, так как на беду, оказался еще и специалистом именно по тем вопросам, которые вошли в

моё дипломное задание. Игорьковы-то листы он глянул вскользь, а мои, это было видно, ему хотелось скомкать и вышвырнуть.

К тому же, вдобавок, я у него в этот вечер оказался в очереди третьим. В последний момент перед нами на рецензию шмыгнула Надя, к тому времени уже Бизунова. Пришлось пропустить даму и кормящую мать, тем более, что она была не из таковских, кто позволяет себя обгонять перед самой кассой. Рецензент нервно подергался, однако смирился и написал, что мой проект выполнен «в общем удовлетворительно». Наши одноклассники, зрители на защите, услышав такую фразу, только охали и ахали.

Защита, тем не менее, прошла благополучно, и даже с юмором. Нашелся один из членов комиссии, который никак не мог успокоиться. Он всё добивался от меня нужного ему ответа, который я упорно и категорически не принимал, и в конце концов выскочил из-за стола. Мы отодвинули в сторону все решетки с моими листами, а затем вовсю, по очереди, стали малевать мелом на доске, пока не пришли всё-таки к взаимопониманию. Женька со смехом говорил, что со стороны это смотрелось как в остросюжетном кино.

И вот, 22 июня, меня, наконец, единогласно признали инженером. Всё было позади. И всё было впереди...

Очередной дипломированный углежог Тимоха Малоручко был готов приступить к работе по любой специальности, какая только свалится на его бесшабашную, едва прикрытую кепкой, голову.

Раздел 7. В МИХМе после МИХМа.

Введение. Три жизни

Так уж получилось в жизни, что я, оказавшийся в МИХМе по стечению обстоятельств, стал не просто, а трижды михмовцем. Отучившись свои пять лет, и отработав в том же институте по распределению, я, следуя перипетиям собственной судьбы, вернулся-таки в родной МИХМ еще раз. Правда, только на год. То есть как-то сложилось, что я оказался довольно тесно связан с ВУЗом, с которым не имел никаких – ни родственных, ни семейных – отношений.

К слову сказать, в этом для меня не было ничего удивительного. Добавлю, что каждый человек дорожит именно своими достижениями. Люди, которые могут причислить себя к михмовским династиям, гордятся своей семейной приверженностью традициям. А в семье, из которой вышел я, предмет гордости составляло многообразие интересов и то, что каждый шел своим путем. Отец мой не имел высшего образования и даже законченного среднего (бросил всякую учебу во время войны). Мать закончила медицинское училище. Сестра – автодорожный институт. Двоюродный брат отца – авиационный, двоюродный брат матери – литературный, двоюродная сестра матери – институт инженеров транспорта. Моя двоюродная сестра – педагогический, а двоюродный брат – высшее морское училище. Других дипломов в ближайшей родне нет, разве что еще у жены – диплом Лестеха. Так что я был и останусь единственным михмачом в семье. Но зато троекратным!

И теперь я хочу вспомнить и рассказать, какие события происходили со мной и моими друзьями во время второго михмовского этапа.

Часть 1. Творцы и созидатели

Не секрет, что в 70-80 годы факт поступления выпускника школы в институт сравнивали с выигрышем в лотерею. Отчасти это было так. Само собой, набирали достаточно баллов и проходили по конкурсу наиболее подготовленные, но случались неединичные исключения, как в ту, так и в эту сторону. Вторичные факторы (экономического или политического плана) особенно в институтах с умеренным конкурсом в наше время влияли незначительно на общую картину.

Примерно такой же лотереей выглядело предложение остаться в институте после его окончания. Ни о какой планомерности или целенаправленности не было и речи. Кому-то со стороны может показаться странным: пять лет люди были на виду со всех сторон. Можно присмотреться, отобрать и даже настроить, предупредив заранее. Иллюзия такого представления порождена тем заблуждением, что предложение поработать в институте преследовало высокие цели. Например – отобрать лучших, сделать из них будущих столпов отечественной науки и дальше, дальше, дальше....

А ведь ничего подобного. Выпускникам предлагалось остаться в институте инженерами. Не меньше, но и не больше. То есть, по институтским меркам, пойти в работники самого низшего разряда. Приняв это за основу, любой человек сам придет к выводу, что подбором подходящих кандидатур начинали заниматься примерно за месяц до распределения. И что занимались этим не ведущие силы, а работники вполне второстепенные. Так собственно оно и было. Приглашали, конечно, из успевающих студентов, судили по зачеткам, но вот почему или как тот или иной студент успевает – помыслите, к чему такие тонкости!

Не могу сказать, с чем это было связано, но на кафедры МИХМа., начиная с 1978, четыре года подряд производился массовый набор выпускников. Я шел в волне второго года. И увидел эту волну уже 2 сентября возле станции метро «Измайловский парк». Всех нас, свежеоформленных михмовских инженеров, отправили на месяц поработать лопатой. Москва ждала Олимпиаду, возводила стадионы и гостиницы, в том числе Измайловский комплекс. В толпе, ждавшей приказаний прорабов, мелькали физиономии, еще не успевшие за лето забыться. Были здесь и Петрухин, и Шомин, и Припусков, конечно же Калитеевский Виктор, Жора Малков со своим приятелем Ястребовым, Дима Зыков, другие знакомые и малознакомые лица. Не берусь перечислять всех, так как нас уже спустя полчаса раскидали на две бригады и развели в разные смены. Потому память может и подвести. Одно несомненно, было там не менее двадцати человек, и все новобранцы за исключением Пирогова. О нём скажу несколько подробнее.

Когда мы стояли неровной кучкой, чуть в стороне расположился дядя в неплохом отглаженном костюме и с большим коричневым портфелем. От Витьки я узнал, что он с «Процессов», и мы, признаться, немного похихикали над его несовместимостью со всеми нами. Но попали пальцем в небо. Почти тут же этот дядя подошел, слово-другое и постепенно все сгруппировались вокруг него. Веселый, непринужденный разговор, искренняя некичливость, неистощимый запас бывальщин, историй и анекдотов. И великолепное умение их рассказывать. Короче, поколебавшись день-два, мы стали называть Пирогова Женей и только к концу измайловских работ сподобились выяснить, что отчество его – Сергеевич.

Работы эти были ничтожные: копание канав, прокладка дренажных труб.... Зато сама стройка – нечто грандиозное, самое мощное из того, что мне доселе приходилось видеть. Четыре многоэтажных корпуса, возводившихся одновременно. Одних солдат из стройбата работал целый эшелон. С утра, когда они выходили из подъехавших вагонов, казалось, что движется не меньше армии. Но минут сорок – и все солдатики скрылись с глаз, рассасываясь по этажам комплекса гостиниц. Материала тоже было обилие. Не жалели ни гранит, ни мрамор. Целые плиты со слегка поцарапанным краем лежали в отвалах. А изолированные трубы отопления по подвалам закрывали не оцинковкой, но блестящим золотистым листом с напылённым покрытием. Что уж там говорить про щебень или керамзит, их лежали непочатые горы.

Работали же мы, в общем, шалаяй-валяй. Не полагалось нам ни оплаты, ни норм. Только-только, что сумеет заставить сделать приставленный бригадир, да плюс наша советская сознательность. Последний стимул: сделаете задание – уйдете пораньше. Но теперь – единственная отрада – проезжая мимо гостиницы «Измайловская», вспоминать, что и мы здесь что-то делали. Внесли лепту в год восьмидесятый.

По кафедрам рассеялись уже ядреной осенью. Я не успел оглядеться, в лаборатории засели за годовой отчет, подключая и меня по мере надобности. Так что реально, до нового года я так и не увидел, чем мне предстоит в институте заниматься. Это пришло несколько позже. Зато известие совсем другого рода свалилось на голову сразу. В радостно-печальный день прихода с измайловской стройки мне пришлось испытать небольшое, но по-мальчишески горькое, разочарование. Я был направлен под начало к женщине. К научной сотруднице Симоновой. Вот уж не думал, не гадал. Ничего себе институт, ничего себе наука! Хотя Надя Симонова (я называл ее, конечно же, Надежда Ивановна) была и симпатична и привлекательна, эрудированна и, говоря честно, вполне даже умна, но... Но при ней оставалась и нервозность, и эмоциональные перепады, вплоть до впадения в легкую панику, и непримиримость к той или иной неумелости, которая просто не может быть прощительна на работе мужчинам.

Приходилось всё время быть начеку и поскорей пытаться постигнуть на стороне премудрости работы в лаборатории. Первым моим наставником определился Миша Евтеев. Он пришел всего на год ранее меня, но нужной квалификацией овладел, похоже, еще до того. Допустим, собрать на муфтах ветку водопровода, установить кран или вентиль я мог и без него. А все прочие навыки в жизни моей укладывались в строительные и, в лучшем случае, столярные. Правда, я неплохо владел обычным химанализом, но в МИХМе он мне ни разу не потребовался. От Евтеева же пришлось перенимать умение управляться с газовыми баллонами и приборами, электродрелью (я увидел ее впервые, дома мы пользовались коловоротом), тестером, мотать электроспираль, накладывать теплоизоляцию, особенности работы со стеклом и жестяных работ.

Стекло, бич новичков, вбило на всю оставшуюся жизнь в мои руки нервный рефлекс. Точные, мягкие движения, никаких рывков, предельно сконцентрированное внимание на собственных пальцах. А жуть? Каких только штук мы не научились из нее выделять. Трубка, которую впоследствии изготовил Кабак, стала недостижимым образцом. Сам Кабак говорил, что, пусть, мол, попробует сделать такую Федя (штатный жестянщик института).

Была, конечно, работа и попроще, которая не требовала Мишкиной поддержки. Такая, что или постигалась с первого тычка: резать текстолит, оргстекло, или совсем уж без проблем – пилить ножовкой уголки, швеллера, листы и полосы.

Сходная «работа» шла и в других отсеках исследовательской лаборатории кафедры «Процессов и аппаратов», но не во всех восьми. Звуки доносились из третьего, четвертого, седьмого. Второй отсек – группа профессора Соломахи – был давно уже полностью оборудован исследовательскими стендами. Там проводил свои последние замеры вокруг мешалки Сергей Бальдежак. Виталик Тарасов ходил королем. Три

аспиранта Соломахи подбирались к защите, следующая очередь была его. Первый отсек пустовал, и до поры до времени его не велено было занимать никому. Затихли и два отсека Муштаева, но эти по причине хорошей информированности руководителя. С них должна была начаться новая жизнь. Другие же пока оставались в неведении. Надежда Ивановна, например, как-то обмолвилась, что нашему восьмому отсеку, и в частности мне, повезло. Почти все установки готовы (ее и Юрки Ларченко), собраны и щиты и стенды, осталось наладить хроматограф и начинать эксперименты. Но таким обнадеживающим словам не суждено было сбыться.

Распределению в институт, и моему, и всех моих товарищей по... не знаю, несчастью ли, но по нелепости – точно, предшествовало знаменательное событие. Легендарный Плановский, который последние годы был зав кафедрой только на бумаге, расстался, наконец, с «Процессами и аппаратами». Кафедра обрела нового заведующего – профессора Кутепова. Фигуру весьма высокого ранга, крупного работника Совета Министров СССР. На первых порах это назначение мало отразилось на привычной жизни кафедры. Кутепов был перегружен основной работой и имел возможность бывать в МИХМе только по субботам.

Нас, инженеров отраслевой лаборатории, которая входила в кафедру «Процессов» лишь косвенно, больше затрагивала другая перемена руководства. Ушел зав лабораторией Павлов, его сменил доцент Рудов. Следом за Павловым отхлынули и рассеялись все его сотрудники. Геннадия Яковлевичу Рудову, по сути пришлось набирать и формировать отраслевую заново. Этот процесс шел ни один год и, в общем, не завершился и через пять лет. Что было потом, могу только предполагать.

Но вернемся к постепенно определившимся начинаниям Алексея Митрофановича Кутепова. Их по большому счету было два: «Внедряйте вычислительную технику» и «Необходима реконструкция лаборатории». Внедрение вычислительной техники – то есть закупка компьютеров еще того, предшествующего поколения, шла понемногу, своим чередом и затрагивала большей частью снабжение, включая и своих кафедральных «снабженцев», Харитонов – завлаба и Сидельникова – экс-завлаба и парторга. Совсем другим боком свалилась всем на шею «реконструкция лаборатории».

Кафедра «Процессы и аппараты», вне всякого сомнения, обладала лучшими лабораторными помещениями в институте. Две половины первого этажа В-корпуса с пятиметровыми потолками и огромными окнами. Выход на задний дворик, технические подвалы и пристройка – отличная возможность для размещения вспомогательного оборудования. Одно «плохо» – предшественники Кутепова стремились максимально использовать отведенное им пространство. В основном это относилось к исследовательской лаборатории.

Общий обширный зал этой лаборатории естественным образом подразделяли на крупные части шесть капитальных колонн, несущих потолок. Получался центральный проход и восемь боковых отсеков, по четыре с каждой стороны. В незапамятные времена в пяти отсеках и тупике центрального прохода был пристроен дополнительный этаж. Внизу на полу располагались исследовательские установки, а люди со своими столами и шкафами перебрались вверх, на полы из толстого рифленого листа. Стойки из швеллеров прочно держали на себе всё это металлическое сооружение. Часть установок, не умещавшихся внизу, прошивали стальное перекрытие и уходили к далекому потолку. Вокруг таких башен на втором этаже, разумеется, располагались дополнительные площадки обслуживания.

После осмотра лаборатории Кутепов однозначно сказал «нет». И привел в пример вторую половину этажа – учебную лабораторию. Там всего-навсего разместилось два учебных класса и несколько установок. А весь потолок, и вообще всё, что выше двух с половиной метров, чисто и пусто. «Вот как должно быть!», «Просторно и красиво!»....

Работы начались в зиму со срезания дополнительного этажа. Сверкали горелки, вверх полз дым, иногда ухали об пол сбрасываемые куски металла. Надежда Симонова вздрагивала возле своего хроматографа со шприцом в руках. Площадку под лестницей загромодило оборудование из отсеков Муштаева. Начали с них. Но скоро стало ясно: у профессора Кутепова грандиозные планы. Дело не ограничится уничтожением антресолей и побелкой-покраской.

Намечено проделать, ни много ни мало, следующее: сбить всю керамическую плитку со стен, колонн и потолка, срезать всю существующую водопроводную и канализационную разводку, убрать всё отопление, полностью ободрать электропроводку силовую и осветительную, вместе со светильниками, заменить оконные рамы и двери. Потом проложить коммуникации по новой единой схеме, наново отделать помещение. И после этого – вселяться. В целом, с точки зрения кафедры – план очень хороший. Какой-то годик – и отлично оборудованный лабораторный зал. Мы – нижний персонал, тоже не могли не согласиться, что, в первую очередь, обновление систем – мероприятие стоящее. Ремонт, в общем и целом, тоже не лишний. Это были, так сказать, позитивные стороны намеченных работ, то есть блага, шедшие на общую пользу всего коллектива.

А вот отрицательные последствия затрагивали далеко не всех. Были ли они? Были и немало! Конечно, прежде всего, не радовало то, что к отделочным работам без раздумий припахали нас – всех молодых и неостепенённых сотрудников. Годик с лишним нам предстояло оттащить носилки с мусором, куски порезанных труб и профилей, и в обратную сторону тащить стройматериалы. Кое-кто не захотел этим

годином жертвовать. Ушли последние «павловцы» - Вова Талдыкин и Андрей Маслов, засобиравшись следом и Надежда Ивановна. Ее теперь удерживала только приближающаяся защита Виталия, мужа-аспиранта. То есть вся бумажная морока с оформлением, которую она, конечно, готова была полностью взять на себя.

Люди эры персональных компьютеров, доступных принтеров и ксероксов, только при буйной фантазии могут представить, какая была мука отпечатать несколько сотен машинописных страниц, размножить в пяти экземплярах, сделать несколько десятков иллюстраций и диаграмм. Чуть проще решались вопросы с фотографиями и плакатами. Их можно было делать собственноручно. Зато текст! Искать машинку, доступ к которым был строго ограничен, и соответственно машинистку. Вычитывать напечатанное, исправлять ошибки перепечаткой или вклейкой, вписывать от руки – аккуратно – формулы. Одна нумерация страниц (одинаковая во всех экземплярах) занимала несколько часов. Диаграммы проходили цепочку: эскиз – калька – синька, два первых шага вручную. Не будет преувеличением сказать, что оформление отодвигало срок защиты диссертации минимум на полгода и обходилось в несколько аспирантских стипендий. Но я отвлекся. Говоря честно, это были уже сладкие муки, особенно если не давили жесткие сроки. И далеко не всякий до этих самых мук добрался.

Итак, предстоящая грязная ломовая работа для вчерашнего советского студента – серая обыденность. Коробило не то, что она снова нам выпала, а то, что она на неопределенное время вытеснила все смутные личные планы. И не обязательно планы, а надежду – безусловно. Ведь каждый, пришедший на кафедру, в мыслях видел себя непременно возле исследовательской установки. Пусть не день и ночь напролет, пусть не каждый день в неделю, пусть даже только по субботам. Увы! Ясно и дураку, пока такой глобальный ремонт – ничего подобного не будет.

Но мы теряли не только время. Мы теряли и материальную базу, созданную предшественниками. Под нажимом организаторов ремонта, делового Харитонов и непреклонного Сидельникова, началось постепенное выставление на подсобные площади всего оборудования лаборатории. А когда ставить стало некуда, Константин Харитонов снисходительно указал на двор, на площадку, прилегающую к корпусу. И пояснил, вздыхая над нашей наивностью, что назад ничего из того, что стояло прежде, заноситься не будет. Первым подал пример сам Костя. Скликал народ на подмогу, и с воплями и гиканьем мы выволокли на уже чуть подтаявший снег установку самого Харитонova. Была она основательно-приземистая, выкрашенная в темно-желтый цвет. Ни по ее устройству, ни по назначению ничего больше сказать не могу. К сожалению, Константин Евгеньевич Харитонов к научной работе так и не вернулся.

К тому времени, когда дело дошло до вынесения в остальную кучу крупных конструкций, народу в лаборатории заметно прибавилось. С принятием кафедры под начало, Кутепов забрал с собой целую циклонную лабораторию, относившуюся прежде к кафедре Аксельрода. Люди из этой лаборатории, однозначно среди прочих именующиеся «кутеповцы», стали чаще появляться под крышей «Процессов и аппаратов». Соловьев, Чичаев, Баранов, Стерман... Но все-таки не так уж и часто. Их лаборатория не подверглась разгрому, им было, чем занять себя и помимо ремонта. Сначала мы больше встречали их на мероприятиях типа комсомольских собраний и чуть позже - заседаний кафедры.

На заседании кафедры стали бывать и старшие научные сотрудники из той же лаборатории – Терновский и Жихарев. Постепенно к ним прибавился регулярно забегающий Ветошкин. Таким образом, ни у одних инженеров подкисло настроение. Кандидаты наук, работающие на «Процессах»: Кузнецов, Талачев, Ольшанов, Клочин, Губанов без вопросов поняли, что очередь в преподаватели удлинилась на несколько звеньев.

Подошел и следующий выпуск, а с ним и молодые новички. Летом появился Андрей Пахомов и тут же взялся за отбойный молоток. Ближе к осени на кафедру пришли Кадушкин, Шмагин, Тырин, в отраслевую Сашка Золотников. Все они, как и мы в свое время, верили, что вытянули счастливый билет. Вероятно, им было легче смотреть на пустые отсеки, в которых возились отделочники и сновали их подручные-инженеры, они не застали того, что было прежде.

А что испытывали выпускники предшествующего нашему 1978 - лучше и не пытаться разгадать. Проворный Ларченко, уже год, как завершивший установку, махнул на нее рукой и стал искать другие подходы. Сергей Трифонов боролся до конца. Его стенд был только-только закончен к началу «зачистки» отсеков. Но он рассчитывал все же его сохранить и пытался дооборудовать уже пустое место: приводил нелегальных исполнителей и прокладывал к заветной точке левые проводки. В конце концов, Костя Харитонов приказал всё уничтожить. Михаил Евтеев ходил с насмешливой улыбкой, наконец он срулил на другую кафедру. Кудрявцев метался вокруг самой большой колонны, которую было решено сохранить, и пытался ускорить работы исключительно вокруг нее, чтобы скорее развязать себе руки. Ирина Миклашевская тихо-мирно обитала за своим рабочим столом, более и не помышляя о собственной установке, и, в конце концов, ушла в декретный отпуск. Виталик Тарасов до последнего часа не давал раскурочить автогеном свой великолепный отсек, тщетно привлекая на помощь авторитет декана Соломахи. Дважды он останавливал уже занесенные резак. Но настал третий раз, и баки с обечайками посыпались на пол, чтобы найти свой конец на свалке.

Отделка стен, пола и потолка, монтаж распределительных электрощитов, всё это между тем шло своим чередом в хорошем темпе. Осенью каждый заволакивал назад остатки своего барахла. Затем потащили понемногу и имущество кафедры, начиналось постепенное освобождение учебной лаборатории. В наш восьмой отсек внесли длинную раму с толстой трубой в форме вытянутого по горизонтали овала – мы сразу обозвали всё это «динозавр». Динозавр был новой учебной установкой по изучению процесса сушки.

Не буду дальше тянуть кота за хвост, скажу коротко. Следующее лето ухнуло на ремонт учебной лаборатории, отделку вестибюля корпуса, укладку ведущей вверх лестницы мраморными ступенями. Теперь Кутепов заходил по своим субботам в В-корпус исключительно через собственный подъезд. «Хоть стало похоже на институт», – обмолвился он как-то. В третье лето – отделка под кафедральный вычислительный центр бывшей изотопной лаборатории, отвоеванной Кутеповым у одной из дружественных кафедр. Всю начинку этой просторной аудитории, включая паркет и черновой пол, искушенные инженеры и соискатели кафедры «Процессов» выдрали за два ударных дня! Проходя вечером по коридору, я столкнулся с Сидельниковым, стоящим на пороге абсолютно пустой коробки. «Вот это я понимаю! – искренне похвалил работу Иван Иванович. – Что значит опыт!!». Алексей Митрофанович Кутепов до конца жизни по праву гордился произведенной им реконструкцией. Сражен был даже академик Кутателадзе, посетивший МИХМ проездом, и свое выступление перед кафедрой он начал с похвальных слов «о туфе и мраморе»....

Как только втащили те остатки, которые правдами и неправдами удалось сберечь за время ремонта, перед молодыми сотрудниками кафедры встал вопрос: можно ли наверстать время. Тем более, что наверстывать его, никто нас поощрять не собирался. Скорее наоборот. Столы, стулья, шкафы, тумбочки и сейфы внести было недолго. Но отсеки-то всего лишь сверкали свежей плиткой. Внутри них не заходило ни труб, ни проводов, ни кабелей, ни вентиляционных коробов. Всё это еще нужно было сотворить. И над первозданной чистотой висело строжайшее распоряжение: никаких «соплей», времянок, шлангов, проволочных подвесок. Никакого временного подключения старых шкафов и модулей. Всё разбирать, раскручивать, распиливать – и монтировать единообразные каркасы из дюралевого уголка. А к ним подводить капитально все коммуникации. Все материалы добывать и заказывать самим. Кафедра от своих щедрот выделяет дюралевый уголок, а ножовки, сверла и болты с гайками как-нибудь найдете.

Месяца через три-четыре после завершения «реконструкции» достроенные, недостроенные и полудостроенные алюминиевые этажерки покрылись табличками «Идет монтаж». Так категорически постановил новый начальник «Охраны труда» полковник Родионов. Нельзя работать на установке, пока она не спроектирована, согласована, не смонтирована и не принята институтской комиссией. Но до этих высот еще нужно было доползти.

Единственному человеку начальство позволило нагонять и обгонять время – Саньке Кудрявцеву. У него горел официальный аспирантский срок. Поэтому Рудов освободил его от возведения этажерок. Кудрявцев метался, наново прокладывая к уцелевшей колонне водопровод, воздуховод, электричество. В отраслевой ему был открыт приличный кредит вспомогательной валюты – гидролизного спирта. Всем остальным шеф шел в этом вопросе навстречу, только если убеждался, что другие возможности исчерпаны.

Никогда не угадаешь, какие способности таятся в человеке. Внешне инертный, Кудрявцев обладал тугим бычьим упорством. Он толкал свою несчастную установку вперед, как шофер застрявшую в тайге машину. Который знает, что иначе он не выберется и сгинет. Непроходимой тайгой стоял на пути Кудрявцева, а равным образом и всех нас, всеобщий всепроникающий дефицит.

В институте было всё: отдел снабжения и склады, мастерские, включающие механический цех со множеством разнообразных станков, и, кроме него – сварочный, столярный, жестяной и стеклодувный участок. Работали, имея свою собственную базу, электрики главного энергетика и сантехники главного механика. И одновременно ничего этого не было! Так как ничего нельзя было сделать или получить сразу – оформить, выписать, заказать. Заказ в мастерскую, например, сначала просто брали в общую папку, затем доставали к рассмотрению, передавали в обсчет, производили потребную корректировку и после этого включали в план работ. Уверенно можно было сказать одно: летний заказ проваливается до осени без движения, осенний будет включен в план не позже Нового Года, зимний будет выполнен до лета, а весенний – как повезет. Если застрянет до лета: смотри сначала.

Такой порядок вполне был хорош для кафедр и учебных лабораторий, их программы и установки десятилетиями не обновлялись. Он напрягал и отбивал руки нам: пришедшим в институт молодыми и не собирающимися клепать установки по чайной ложке, чтобы запустить их к пенсии. Когда же тогда делать семимильные шаги в науке?

Очень многое из того, на что писались заказы, мы с горем пополам могли бы изготовить собственноручно. Было бы из чего. Но вот это самое «из чего» и составляло камень преткновения. Снабжение наши заявки откровенно игнорировало, оно работало на обеспечение учебного процесса. Даже если нужный материал и был на складе, выписать его честным путем оказывалось нереально. Например, если требовалось метра четыре кабеля из того, что целой катушкой возлежал во дворе склада, приходилось идти вдвоем, и вооружившись. Пока один морочил голову герою Отечественной войны, боевому летчику Павлу Михалычу, другой потихоньку отхватывал нужный кусок.

Все эти перипетии я испытал в полной мере, оставшись, в период восстановления стендов по сути в одиночку. Надежда Симонова ушла, Ларченко добился возможности продолжить свои эксперименты на установках опытного химзавода. Золотников не сильно рвался работать со стеклом и металлом, у него постепенно прорезались другие интересы. Так что этажерки и все, что к ним прилагалось, я возводил один.

Правда, теперь только в половине отсека. Вторую половину заняли кутеповцы - Чичаев и Карандеев. А через проход, в первом, доселе резервном, тоже расположились кутеповцы – Шорин, Стерман, Балувев. Затем пришли Мохаммед Измаилов и аспирант Берндт Фройндорфер. Они установили стойки и соорудили через весь первый отсек прямо над головами длинный стальной балкон. Однако этот второй этаж теперь никого не покорибил. И может быть, даже сохранился в архивах снимок профессионального фотографа. Профессор Кутепов дает интервью немецкому журналу, а затем сфотографирован на том самом балконе вместе со своим «юным другом», аспирантом из ГДР (похожий фрагмент был и в фильме о МИХМе).

Таким образом, до конца очередного года я обустроивал восьмой отсек, чтобы потом приступить к экспериментам по теме, оставшейся бесхозной с подачи упорхнувшей Надежды Ивановны. Я не спешил из кожи вон, на манер Кудрявцева, (да и работы по отсеку, и всякой другой, было гораздо больше) но выкрутасы с самоснабжением, как он, да и все остальные, испытал в полной мере. Скажем, из-за пяти хилых ТЭНов для куба колонны пришлось обегать несколько заводиков. Слов нет, это не только тормозило работу, но и расхолаживало исполнителей. Шеф постоянно высказывался в адрес нашей пассивности, незаинтересованности, ставил в пример Кудрявцева. Как, мол, ловко он смог разжиться трубами на соседней стройке.

Ни мне, участвовавшему в этой эпопее, ни самому Кудрявцеву, не было никакой охоты его разубеждать. Так и остался Геннадий Яковлевич в благородном неведении. Дело было так. Кудрявцев сбился с ног в поисках трубы большого диаметра, чтобы восстановить обрезанный при «реконструкции» участок воздуховода. Он был готов распилить газовый баллон и сварить его вместо куска трубы. Наконец, прямо за кирпичным забором МИХМа, в куче металлолома Санька разыскал покореженную трубу, от которой можно было отрезать два метровых куска. Договорился о цене с тамошним сварщиком, получил согласие шефа. Я пошел ему помогать. Перетащили мы отрезанные трубы и метнули в снег прямо через забор. А потом зашагали в обход до главного вестибюля МИХМа, так как через ворота и старый корпус сотрудников пускать к тому времени запретили. Обошли, дотопали... и увидели в снегу только две свежие вмятины. Кто-то с какой-то дружественной кафедры уже подсутился.

С горя Санька состыковал трубопровод в два раза меньшим диаметром, и колонну эту сбереженную так и не запускали в дело на моей памяти ни разу. Кудрявцев себе для эксперимента смонтировал на скорую руку другую, поменьше, из найденных в Костиной кладовке. На ней потом и работал.

Но довольно о реконструкции. Еще через годик-другой стенды и установки обрели свою завершенность, и законченность на долгие времена. Улеглась взбаламученная вода, лаборатория вернулась к плановности и спокойствию. И вся кафедра в целом.... Кутепов продолжал бывать по субботам, час-полтора к его приезду все проводили внешнюю уборку своих помещений и устройств. Затем зав кафедрой со свитой обходил хозяйство, делал замечания, выслушивал объяснения. И в одиннадцать или половину двенадцатого начиналось общее заседание. Заседания эти бывали и интересными, особенно если на них присутствовали необычные лица со своими докладами: тот же Кутателадзе, Классен, и даже В.П. Майков, хотя его теорию на «Процессах» игнорировали. Но чаще приходилось слушать всё как обычно, и ждать завершения. А потом возвращаться на своё место в лаборатории, чтобы томиться последний час. В субботу ведь работали только до трех, и все, разумеется, рвались домой, даже если кто-то и задерживался по необходимости на буднях. Заседание же кафедры оканчивалось на полтора часа раньше. Тут бы и уйти, тем более, что суббота.

Ан нет. Никто не посмел бы стронуться с места, поскольку существовала непогрешимая табельная! Слева от парадного выхода из А-корпуса вниз уходила неприметная лесенка, которая сворачивала к заветной дверце. За ней, в уютном полуподвальчике с мощными дуговыми сводами, располагались на стене три пары квадратных досок. Доски истыкивали гвоздики без шляпок, под каждым стоял номер. Такой же номер был выбит на алюминиевом треугольнике с дырочкой. И через эту дырочку треугольник подвешивался к гвоздику.

Каждое утро сотрудники МИХМа совершали заветный ритуал. Они снимали треугольный номерок с одной доски и перевешивали на другую. Вечером тот же номерок возвращали назад. Ровно в девять табельщица закрывала доску. А в четыре сорок пять, или в субботу – в три ноль-ноль, доска снова открывалась. Не успел утром – опоздал! Не перекинулся вечером – еще хуже, разборки и выяснения. Поэтому в субботу около трех часов к табельной по всей парадной лестнице стояла длинная очередь. Все были уже готовы и только ждали, когда загремят доски. Одни лишь преподаватели, люди особого положения, не ведали, что такое табельная.

Табельщицами работали особо доверенные люди, две строгие непреклонные женщины. Одну, которую я помню хуже, звали Александра Михайловна. Про нее поговаривали, что она человечнее, может пойти навстречу в трудной ситуации. Не скажу в этом плане ничего определенного, мне в таких «трудных ситуациях» просить у нее помощи не приходилось. Со своей стороны помню, что хоть манеры у ней и были

мягче, на страже номерков она стояла зорко. Вторая, которую между собой все называли просто Эвелина, а порой и поглубже, была непроницаемая и твердокаменная. Потом, на смену Александре Михайловне пришла молодая Марина, и все воспрянули, было, духом на месяц-другой. Но, в общем и целом, надежды на послабление остались тщетными.

Приходилось изворачиваться другими средствами. Самым простым было перекидывание двух номерков сразу, за себя и за товарища. Это делалось не так легко, как можно было подумать, табельщицы не дремали, улавливая отточенным взглядом каждое лишнее движение. Однако находились сотрудники, которые достигали в этом искусстве виртуозности. Тот же Евгений Пирогов, который к прочим своим талантам прекрасно показывал фокусы с шариками и кубиками, проделывал подобные манипуляции легко и непринужденно. Но только для хороших друзей и в случае настоящей необходимости. Не всем, конечно, быть факирами, однако нужда заставляла. По моим наблюдениям, если взять МИХМ в целом, за неделю не меньше двадцати номерков переносилось с доски на доску чужими пальцами.

На табельной держалась львиная доля МИХМовской дисциплины. Поэтому, когда Саша Стерман в шутку говорил, что будь он табельщик, купался бы в деньгах, это не звучало пустой похвалой. Как говорится, с миру по нитке, а желающие нашлись бы безусловно. Другое дело, что отдел кадров вряд ли доверил бы Стерману табельную.

Жизнь между тем продолжалась, время неумолимо шло вперед и ежегодно напоминало о себе появлением новых свежих лиц. Сильно разрослась группа Буткова. Пришли Буланов, Черных, Макареев, добавилось сразу трое аспирантов, и седьмой отсек стал самым шумным и многолюдным. Сразу в трех отсеках появились молоденькие лаборантки. Лаборатория моментально заполнилась переключкой голосов, то и дело открывалась и закрывалась новая стеклянно-алюминиевая дверь, впуская и выпуская посетителей. Непрерывно трещал телефон, и чем дальше - тем больше. После двухгодичного перерыва стала увеличиваться и группа Соломахи, сократившаяся, казалось, до одного Виталия Тарасова. В нее вошли Саша Карабанов, Ирина Цаблинова, Татьяна Тарасова. Кутеповцы появлялись всё чаще, барьер между ними и прочими еще существовал, но постепенно размывался. Народу на кафедре прибавилось настолько, что стало хватать даже на самостоятельные футбольные поединки. Горячим их организатором выступил самый ярый болельщик исследовательской лаборатории Коля Тырин, ему противостоял насмешливый Илюха Шмагин. В момент наибольшего футбольного пика в наших играх участвовали даже ветераны – Д. Казенин и П. Кронов.

Наш шеф – Рудов, напротив, теперь набирать народ не спешил. Похоже, он разочаровался в механиках и, после опыта с Кабаком, стремился привлекать в лабораторию тэкашников. Они не только по командировкам ездить умеют, но и в приборах разбираются! Через парусную секцию Геннадий Яковлевич пригласил Володьку Агафонкина, уже не зеленого выпускника, а инженера с трехгодичным производственным стажем. Агафонкин был прекрасный человек, превосходный товарищ, трудяга, но этим самым и не вписался в новую кадровую концепцию шефа. Следующим, кто должен был усилить в лаборатории тэкашное крыло, Рудов наметил Игоря Мальцева. Про него не могу сказать практически ничего, поскольку он пришел уже на смену мне и принял у меня всю работу по отсеку и по теме.

Уходил я с большим скрипом и бюрократическими препонами. Видимо поэтому никакого открытого разговора между мной и моим преемником Игорем не состоялось. И только года через два случилось забежать в МИХМ и заглянуть в лабораторию. Там всё стояло практически в том же виде, не считая мелких деталей. (К слову сказать, мало изменился внешний вид отсеков и через пятнадцать лет, во время моего третьего МИХМовского этапа). И вот тогда Игорь произнес единственную фразу: «Теперь я понимаю, почему ты ушел».

Разумеется у меня, как у всякого увольняющегося, причин было несколько, в том числе и личные. И я не стал бы касаться этого вопроса, будь мой случай единичным. Но я отнюдь не был первой ласточкой. К тому времени, вспоминая ушедших в разные стороны ровесников, можно было уже загибать пальцы на руке. Да и расставался с институтом я тоже не один, а в компании с Юрой Ларченко. Вот он бы не поскупился на ядовитые словечки, задай ему кто-нибудь вопрос «почему». А если глянуть чуть дальше, в 1988 год на список сотрудников кафедры, там нет уже не только Игоря Мальцева, но и многих других. Из нашей «волны» застряли последние шестеро, и не дольше чем на годик. Я, конечно, исключая кутеповцев.

Все мы, уходившие после первого опыта самостоятельной работы, были похожи друг на друга. Решение покинуть МИХМ созревало медленно, верный год, а то и больше. Мало было понять бесперспективность собственного пребывания в привычных стенах, нужно ещё и почувствовать, что нет ни малейшего шанса. Уяснить, что судьба более старших коллег, которых ты видишь каждый день, распространяется и на тебя, любимого. И ощутить, что на самом деле ты еще молод, силен, горяч, а на МИХМе свет клином не сошелся.

Конечно, жалко было оставлять с таким напрягом достигнутые результаты, расставаться с хорошими товарищами, интересными людьми, и, что ни говори, все-таки высокоинтеллектуальной атмосферой. Но всего этого было маловато, чтобы пожизненно связать с институтом свою судьбу. А тем, кто решал для себя этот вопрос иначе, доставался тяжелый жребий. Я бы хотел рассказать о ком-то из таких людей

поподробнее, и для меня несомненно, что первым имеет право на внимание и память Евгений Яковлевич Ольшанов.

Часть 2. Грустная улыбка Урании

Написать про Евгения Яковлевича Ольшанова, как он того заслуживает, невероятно тяжелая задача. Легко писать про людей с очевидными успехами. Все их любят, уважают, ценят. Особенно, если они еще и в чинах. Неплохо было бы написать про Дмитрия Анатольевича Баранова. Что-то такое на тему: «Мои памятные встречи с профессором Барановым».

И начать вспоминать, как мы таскали носилки со строительным мусором, разгружали целыми вагонами мешки и сетки с картошкой и даже (помилуй нас, грешных) отмечали день рождения одной лаборантки шумной компанией в техническом подвале...

Нет уж, лучше без этих глупостей! Господин Баранов, ректор, док. т. н., и прочая, и прочая, если захочет, сам вспомнит о своей беззаботной молодости. А еще лучше о своем непростом пути к нынешним высотам. И совсем бы хорошо, если бы рассказал он об Игоре Георгиевиче Терновском, своем первом научном наставнике. О подобных людях, без оговорок посвящавших свою единственную жизнь науке, забывать непростительно. Именно к таким и принадлежал Евгений Яковлевич Ольшанов.

МИХМ в силу своего статуса высшего Учебного заведения в первую голову ценил преподавателей. Это они – воспитатели и просветители студентов – красовались вокруг его нимба на самых почетных местах. Их знали и почитали все, им отдавалось всё наилучшее из того, чем институт владел, из них выходили деканы, проректоры и ректоры. Разве знал кто из доверчивой публики, а что скрывалось за торжественным фасадом, чем занимались все те, кто являлся в тот же институт каждое утро, но имена которых были никому не известны. Их место было в «подвалах и подземельях» МИХМа.

Не секрет, что орденоносный МИХМ не относился к форпостам науки. Научная деятельность, копошившаяся в его недрах, абсолютным большинством сотрудников и преподавателей рассматривалась чисто утилитарно. Надо повышать «остепененность» учебного штата, так сказать, поднимать научную квалификацию преподавателей? Надо! Значит пусть в свободное от студентов время «занимаются наукой». Неплохо звучит. Почти как более позднее – «занимаются любовью».

Но в том-то и беда, что «заниматься» наукой нельзя. В науке надо работать, причем не спустя рукава, а засучив их по самые плечи. И при этом одними плечами не возьмешь. Думать надо. Думать до зайчиков в глазах, вещих снов и видений наяву. Думать не день, не два – месяцами, а когда и годами. Причем это еще не значит, что ты в конце концов придумаешь что-то стоящее. Можешь и не придумать. Сколько их – ничего не придумавших, приходится на одного придумавшего? Никто не считал.

Зато среди этих непрдумавших есть первые и вторые. Вторые не придумали, но продолжали думать и искать. Всю жизнь. Кто до могилы, кто до сумасшедшего дома. Превращались в вечных чудаков, забывших о реальности. И когда у кого-нибудь из них что-то выходило, никто из тех, что решают все вопросы, не принимал их всерьез. И опять же не просто из чванства. Неподатлив сам предмет для непривычного ума. Странные люди эти, как правило, не застревали на поверхностных задачках. Они лезли в непроходимые дебри, добираясь даже до самых что ни на есть вечных проблем. Цеплялись за те вопросы, которые по тем или иным, неизвестным никому причинам, обошли либо отложили «великие». Потому и понять: получилось что-нибудь у самоуглубленного мыслителя, или он просто нагородил чего-то несуразного - не просто. С наскока не разберешься. А глубоко вникать кто же будет, некогда! Ведь дело-то за «первыми», теми, кто когда-то, раз и навсегда, отмахнулся сам от всяких научных поисков.

Отмахиваться тоже можно по-разному. Можно отказаться от науки вообще и уйти в совершенно другие сферы. А можно вместо трудной, действительно научной, взять вполне разрешимую, только недостаточно освещенную в литературе задачу. И объявить – что именно это-то и является настоящей наукой. Ибо приносит ощутимую пользу, дает понятный всем и очевидный результат. А там – дорожка известна. Диссертация, защита. Уважение и успех. А затем и самоотверженный ежедневный труд. Например, в институте. Готовить из студентов инженеров, приносить большую пользу стране.

Вот такая вот картиночка. Очень похоже на правду, всем по заслугам и никому не обидно.

Реальная картина несколько грубее в своей практической зримости. Ведь МИХМовская наука - не заоблачная математика, она требует «железа» - приборов, оборудования, экспериментальных установок. Кто это сделает, соберет, обслужит? Могут, конечно, и сами преподаватели - вечерами, после 3х часов дня, либо в незанятые на неделе дни-окна. Ну, пожалуй, еще в сессию, между днями приема экзаменов и в зимние студенческие каникулы. В крайнем случае, в двухмесячный летний отпуск. Сказанное выглядит смешно даже сейчас. Нет, таким перегруженным людям, как преподаватели, лабораторные дела были явно не под силу. Нужен кто-то другой.

Получается, что лаборанты, то есть люди без профессии и специальности. Ходили слухи, что где-то существуют высоко квалифицированные научные лаборанты. На деле, как известно из МИХМовской практики, хорошо подготовленный человек не засидится в лаборантах, сам выйдет в инженеры и научные

сотрудники. Тогда что же, штатный профессиональный научный работник? Его вряд ли прельстит полусамодельное, полухалтурное оборудование, отсутствие аналитических и метрологических лабораторий и тех же лаборантов.

Проблема вузовской науки потребовала квалифицированного заинтересованного штата, и он был создан. Организовался НИС - научно-исследовательский сектор. Затем он назывался НИЧ под эгидой ХНО, но это уже излишние подробности. В НИЧ входили, прежде всего, те же преподаватели. На полставки. Но известное дело – получающий половину ставки и делает половину работы. И хорошо, если половину...

А кто же будет делать вторую половину? Как кто? Вчерашние выпускники, которых оставили в институте инженерами. Не аспирантами, те заняты своей диссертацией, их не припашешь на все 100, и не «соискателями», а просто инженерами, которым посулено, что со временем они перейдут в соискатели и аспиранты. А пока работа, и всякая работа, поскольку нет в институте непрестижной работы. Работа и на НИЧ и на учебный процесс.

Сердце такого инженера должна была согревать надежда: перейдет он в «соискатели», сделает «диссер», защитится, и встанет в очередь на преподавательское место. Долгая, долгая дорога. У кого-то она оказалась длиннее жизни. В МИХМе, как на временном замороженном срезе, можно было найти таких ожидающих на любой стадии. «Застрявших» в лаборантах, инженерах, научных сотрудниках со степенями. По сути это и был НИС. Кто-то терпеливо ждал. (А преподаватели живут долго, это отмечал еще Ломакин. Он, правда, толковал такую аномалию мистически, через биополя, но статистика подтверждала его декларации.). Кто-то приспособлялся: обозначался на работе и сразу исчезал по всяким неинститутским делам. А кто-то не мог забыть, что он научный работник, и продолжал биться над научными вопросами. Таким доставалось хуже всех. Технической базы никакой, питательной среды для мысли – тем более, моральная поддержка от коллег со знаком минус. Особенно, если затянул с «защитой», и зачислен в неудачники. Вся надежда на единственный инструмент – собственную голову.

Не подведет этот универсальный инструмент, сделаешь что-то значимое. Но не обольщайся. И сделав, не облегчишь своей участи. Останешься в той же очереди, на той же ступеньке. Поэтому не мудрено, что большинство таких МИХМовских подвижников только нащупывали и выявляли проблемы в виде необъяснимых эффектов, и чаще всего на том и застревали. Доработать не хватало возможности. А «ведущим и движущим силам» института эти вопросы были уже не интересны.

Евгений Яковлевич Ольшанов вовсе не был классическим рассеянным естествоиспытателем с милыми странностями. И уж тем более, недоучившимся либо сбившимся с пути аспирантом-неудачником. Напротив, он успешно защитил кандидатскую диссертацию, уверенно писал научные статьи и технические отчеты. Мало того, в составлении заявок на изобретения, контактов с экспертами, он, как говорится, «собаку съел». В этом деле при нашем принудительно-плановом изобретательстве у него можно было многому поучиться. Можно было поучиться и умению работать собственными руками, а также тщательности и дотошности, с которой Ольшанов принимался за любую, даже самую примитивную работу. Его руки не мешали голове, а голова очень грамотно направляла руки.

Постараюсь описать, каким мне запомнился Евгений Яковлевич. Невысокий. Грузноватый, но подвижный, с седеющей шевелюрой, иногда слегка вздыбленной. Говорил быстро, заинтересованно, при этом без мелкой суеты. Слушая собеседника, не скрывал эмоций, мог разразиться внезапным искренним смехом. Сердился редко, больше сокрушался безразличием и тупостью окружающих. Если улавливал в чьих-то словах интересную мысль, моментально подхватывал и тут же пересказывал собственные соображения и выводы.

Любил пошутить, посмеяться, поговорить о литературе, которую хорошо знал. Но разговор всегда переходил на искусство вообще, и непременно возвращался к науке. Помню, говорили об улыбке Джоконды. Евгений Яковлевич послушал, подключился и быстро изложил, в чем там дело по его мнению. Какие черты в мимике любого лица отражают улыбку, какие грусть, и как необычно сочетал эти черты в своей картине Леонардо. В этом он и видел парадокс улыбки на неулыбающемся лице Моны Лизы.

Интересно он объяснял: «Ну-ка, улыбнись! Видели!» «А теперь нахмурься. Да не так сильно! Ага, вот она куда ушла!» «А на портрете помните куда? Вот глаз и бежит: вверх-вниз, вверх-вниз! И лицо живым кажется...». Все только переглядывались, ну и закрутил Ольшанов!

Я не знаю, где и как проходили его студенческие годы и первые самостоятельные шаги в научном мире. Но в 78-79 годах он, не сработавшись с Варыгиным на «Материаловедении», уже кандидатом и старшим научным сотрудником перешел в отраслевую лабораторию ПАХТ под начало к доценту Рудову. Лаборатория работала во внешнем мире – на различных химвпредприятиях Союза. Ольшанов стал вести «грузинское направление» - по химвкомбинату в Рустави. Расчеты, проектные решения, командировки. Обследование действующей промышленной аппаратуры, монтаж. Серьезная производственная работа.

И дополнительная «научная» нагрузка. Кафедра планировала написание большого справочника по расчетам хим.-технол. процессов. Общая редакция – профессора Кутепова, который распределил все разделы будущего справочника между преподавателями кафедры. Один из разделов достался Рудову и его

сотрудникам, то есть в первую голову – Ольшанову. Большая работа, но где же наука? Наука где-то рядом, иногда, мелкими порциями. Многих бы это устроило, но натура Ольшанова была иной, творческой.

Была у старших научных сотрудников отраслевой лаборатории еще одна научная повинность: курировать и консультировать молодых инженеров. Как раз произошел их большой наплыв. Эти совсем еще зелененькие инженерики, разумеется, жаждали «защититься». Институт, казалось бы, ничего не имел против. Вот вам лаборатория – реконструируйте, портите, творите, вытворяйте. Ищите затем, из чего соорудить установку, сочиняйте, как она будет выглядеть. Затевайте эксперименты, разбирайтесь с анализом проб и вообще результатов. Полная свобода (в пределах научной задачи, намеченной научным руководителем). Конечно, с большими обязанностями перед институтом, кафедрой, а как же иначе, кому ты тогда нужен, но тем не менее. Если сумеешь, успеешь – защитишься.

Задача походила на то, чтобы, не зная правил движения, и впервые сев за руль, проехать ночью через незнакомый город. Мало кто преодолел всю эту дорогу до конца. По ходу дела усвоил правила, принял их к исполнению и, набивая шишки, нашел в ночной мгле свой заветный переулок. Выведший его из темного города на свет.

Немногие из этих неоперившихся воробышков выпорхнули из МИХМа кандидатами, а доктором стал, кажется, один Димка Баранов. Остальные просто ушли стреляными воробьями. И в нос, и в хвост, а кто еще и в желудок с печенкой. В конечном счете, и за то спасибо альмаматери.

В отраслевой лаборатории новичков распределяли между научными сотрудниками. И почему-то в деле, где совместимость и контакт одни могли дать реальный эффект, желание самих работников не спрашивали. Ольшанову, которому и здесь хотелось сделать всё так, чтобы не было стыдно перед наукой, достались ребята весьма прагматичного склада. Юра Ларченко возжелал быть независимым и фактически откололся. Сашка Золотников, которому Ольшанов был готов помочь, а, по сути, подготовить диссертацию, на науку смотрел снисходительно. Его больше интересовали собственные личные дела и командировки, из которых он возвращался нагруженный дефицитными покупками. Одним словом, в подвалах МИХМа серьезная наука не желала приживаться.

Год шел за годом, гораздо быстрее, чем хотелось. Сотрудники МИХМа, а среди них и Ольшанов, жили от отчета до летних каникул (то есть какого-нибудь ремонта), и от каникул, через овощную базу, до нового отчета, начинавшегося уже в начале ноября. Работники отраслевой курсировали: в командировку – из командировки, из подвала – в лабораторию, из лаборатории – в подвал. Как все, так и Ольшанов.

Но куда бы Евгений Яковлевич не шел, редко можно было увидеть его без потертой зеленой хозяйственной сумки. Сумка эта была битком набита исписанной и еще не исписанной бумагой, тонкими и толстыми папками. Сумка то раздувалась, то худела. Ольшанов, где было возможно, присаживался за стол и писал: цифры, буквы, формулы, схемы. Потом вдруг начинал вычеркивать большим крестом страницы, а затем рвать их и пихать в урну. Он искал. Занимался сразу десятком задач, поставленных самому себе. Пробовал разные подходы, откидывал варианты. Кафедра процессов тихо посмеивалась. Рудов называл бумаги Ольшанова «письмами турецкому султану». (Еще бы не посмеиваться, когда главные специалисты кафедры относились с нескрываемым скепсисом даже к теориям профессора В.П.Майкова).

По всей видимости, так же проводил Евгений Яковлевич свободное время дома. А в командировках вечерами не вылезал из-за стола и засиживался глубоко за полночь, так что с утра его можно было не добудиться.

Не нужно думать, что Евгений Яковлевич был математиком-дилетантом, бившимся над пустяковыми для профессионала задачами. Я, например, увлекался в то время теорией вероятности и высшей геометрией неевклидовых пространств. Таскал с собой книги, пытался вникать и делать выводы. Стоило в чем-то споткнуться или запутаться, Ольшанов моментально замечал, приходил на подмогу и без особых усилий распутывал узлы. А над своими «задачами» он бился годами. Уж такими непростыми оказывались мучавшие его «пустяки».

Наконец, обретя статус «стреляного воробья», я решил, что в МИХМе мне делать больше нечего. Жизнь завершилась водоворотом. Не только моя, всех нас, кто жил и трудился в Союзе ССР, а затем в президентской России. Прошло десять лет.

Нежданно-негаданно почта принесла скромный конвертик. Это было письмо из полузабытого прошлого. Писал Евгений Яковлевич:

«Здравствуй, Вячеслав Борисович!

Не удивляйся письму, поскольку в наше малопонятное время, когда математики замаливают старые грехи, СНС-ы метут улицы, а доктора наук караулят коммерческие склады, ты для меня остался тем единственным человеком, по крайней мере для меня, который не потерял интереса к произведению рядов, интегралу по контуру и вращению координат.

Признание в любви сделано, и теперь можно говорить серьезно. Борисыч! Не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но по некоторым агентурным данным ты связан с научной работой, но не с нашей блудливой приспешницей начальствующих бездельников, а с той строгой Уранией, которая дарит свою улыбку лишь бескорыстным ее почитателям.

Случилось так, что одна из ее улыбок досталась мне, причем именно сейчас, когда со мной нет рядом многочисленной роты алчущих «соавторов» моих изобретений.. Но, к несчастью, со мной нет рядом и тех, кто мог бы подарить эту улыбку дельным людям, чтобы она не поблекла в альбоме.

Сознаюсь честно. Мне удалось построить систему комплексных чисел, минуя общепринятую абстракцию $i^2 = -1$. В системе выявился параметр, который меняется в зависимости от координат, а при общепринятых комплексных числах он просто обращается в нуль, и потому незаметен.

Способ построения системы настолько прост, что ясен даже школьнику, знакомому с квадратом суммы двух чисел, и потому вот уже более двухсот лет это построение не обнаружено. Ох, уж эта наша гордыня, одна из злейших смертных грехов! – «Это же таблица умножения, а в ней давно все понятно!» (Вот этот самый способ я и нашел в таблице умножения)

Я мог бы еще долго рассказывать и об обобщенных комплексных и других обобщениях, а ведь я даже не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, не сменил ли ты адрес. Поэтому

УМОЛЯЮ,

если это письмо дойдет до тебя, дай о себе весточку, а лучше заезжай, когда будешь в Москве, и мы посидим, как когда-то в гололедь, перед полетом в Тбилиси.

С уважением и надеждой, Ольшанов.

P.S. Если будешь писать, пиши «До востребования». Наши толстосумные вандалы громят урны, мусоропроводы и, конечно же, почтовые ящики. Мой адрес прежний. Жду!»

Я не мог не приехать, хотя на самом деле давно уже обретался в частных коммерческих организациях. Ольшанов был бодр, весел, но выглядел плохо. Узнав, что ни к какой науке я отношения не имею, расстроился и поник. Разговор ушел в сторону, на многомерные многогранники, кристаллы и, наконец, на елочные игрушки.

Сидели мы весь вечер, говорили задушевно, но к науке Ольшанов больше не возвращался. Только один раз, в полемическом порыве, он начал набрасывать схему своего преобразования. Не закончил, прервался. Листок этот хранится у меня, но на нем самая главная информации дана лишь общими намеками. Сохранилась ли она вообще, не знаю! Докапываться в дальнейшем у его близких посчитал неприличным, а затем они переехали.

Сам Евгений Яковлевич скончался в 2002 году.

Повторюсь еще раз, Ольшанов был весьма подготовлен для того, чтобы принять за неизвестное-новое какую-то свою неприметную ошибку. Был добросовестен и очень придирчив. Возможно, его материалы хранятся в семье, может быть, он успел их кому-нибудь передать. Во всяком случае, если не успел, его щепетильность порукой, что их стоит разыскать. А если они все-таки пропали, навсегда останется тайной, в чем состояло фундаментальное открытие Евгения Яковлевича Ольшанова.

Часть 3. Падение Икара

Между двумя крайностями всегда существует умеренная серединка. Так и между теми, кто бросил всё и ушел без оглядки, и теми, кто отдал МИХМу и своим исследованиям всю жизнь, находилось немало людей со средней позицией. Эта позиция упрощенно выражалась фразой с циничным привкусом: «Ты получи кандидата, а потом делай что хочешь, и где хочешь». Прагматически такой подход был самый верный и грамотный. Так сказать, соответствующий существующей реальности.

Оговорюсь сразу, у меня нет желания и намерения замалчивать или принижать реальные достижения кафедры «Процессов и аппаратов». Да это и невозможно, так как то, что сделано хорошо, говорит само за себя. Самым простым и очевидным примером служит, если обратиться к первой половине 80-х, многократное применение при интенсификации производства тогдашних предприятий – различных моделей гидроциклонов Терновского; просечной тарелки, разработанной группой Соломахи; спиральной сушилки Муштаева.... Всё это есть - в статьях, отчетах, патентах и я не собираюсь их пересказывать. Мне хотелось иного – правдиво передать дух того времени, атмосферу на кафедре и в институте. То есть, проще говоря, в стране вообще.

И если говорить, положив руку на сердце, кафедра «Процессов» не была единым научно-исследовательским коллективом. То есть очень далеко отстояла от того идеала, который любил озвучивать сам Кутепов, во время своих критических выступлений. «Сотрудники работают увлеченно, потому что они видят перед собой увлеченно работающих руководителей». Это, к сожалению, к большому сожалению, было сказано не про нас. ПАХТ была и оставалась в первую очередь учебным подразделением. Ее достижения мерялись не научными свершениями, а количеством выпущенных студентов и подготовленных кандидатов.

Вот тут, казалось бы, и неувязка. Кому, спрашивается, плох подобный подход. Наоборот – красота, берись за дело, работай над темой, пиши и защищайся. И находились великолепные воплощатели подобного подхода. Взять того же Кудрявцева, Шарикова или пресловутого «Трижды Вэ». Они-то как раз великолепно отдавали себе отчет, зачем пришли и для чего. Главное качество диссертации – что она защищена, а про всё остальное болтайте, что хотите. После драки кулаками не машут.

Но стоит заметить существенную особенность. Эти, только что перечисленные мною, вместе с иными неперечисленными, не входили в число молодых сотрудников большого набора. Они превосходили их и возрастом, и опытом жизни, а потому некорректно их и сравнивать со всеми нами. Ведь я не видел их молодыми. Кто знает, через какие душевные потрясения прошли те же Шариков, Левин, Вешняков, Соловьев прежде чем определились, что им нужна в первую очередь не наука, а именно кандидатская степень. «Мы не Ньютоны, - говорил Трижды Вэ, - обойдемся без открытий!».

К такому выводу постепенно приходили и мои ровесники. Причем именно те, кто изначально «шел в науку». Другие же, кто исповедовал его исходно, чаще выезжали прочь на веских объяснениях, почему этот подход не имеет смысла воплощать в практику. Но наиболее целеустремленные, как раз из тех, кому он давался мучительно, делали этот невзрачный лозунг своей программой на ближайшие годы. Я имею в виду, ребят типа Сергея Трифонова, Андрея Пахомова, Виталия Тарасова, Бориса Кабака, Сергея Макареева. Кутеповцев опять же не касаюсь, там всё было чуточку по-другому, хотя общая картина сохранялась и у них.

Программа на ближайшие годы! Именно годы, в этом собственно и состоял главный выбор. В конце концов защититься бы дали любому, но какой бы крови это стоило. И чем больше души человек вложил в работу, тем дороже бы она ему обошлась. Характерен пример Виктора Васильевича Ломакина, научного сотрудника МИХМа с двадцатилетним стажем. Ломакин был еще из того поколения соискателей и аспирантов, которое предшествовало нашему, причем самым старшим среди них. Все они прошли через предзащиту на наших глазах как раз в период «реконструкционной паузы». Борис Кожевников, Олег Ершов, Виталий Симонов... по большей части мы видели их уже лишь мельком, как отголоски истории былых, золотых и железных времен.

Ломакин припозднился с защитой главным образом потому, что упрямо добивался признания результатов, ради которых несколько лет работал. Не на диссертацию, а на серьезное исследование. Он изучал мембранное разделение газовых смесей. И получил-таки данные, что прохождение газа через мембрану не исчерпывается уравнениями диффузии Фика и эффузии Кнудсена. Особенно четко это отклонение выражалось при весьма значительных давлениях. Но «режима» или «эффекта Ломакина» в науке так и не появилось, своя кафедра результатов не приняла. Ломакин настаивал на достоверности и значимости полученных данных, встречал в ответ вежливое недоумение. Дальнейшие исследования в результате оказались замороженными. Противостояние длилось несколько лет.

Наконец, тему официально закрыли. И Ломакин пошел на таран. На «Процессах» такие условия игры поддерживали, как самый приемлемый выход. Был привлечен к сотрудничеству некто Крыкин, который снабдил результаты Ломакина математикой столь забойного уровня, что кафедра, а затем и ученый совет института обошли эту часть почтительным молчанием. Интересная работа приобрела черты заурядной пусто-порожней диссертации. А получив корочки, и сам научный сотрудник покинул кафедру при взаимном согласии сторон.

Может показаться, что дело не в обстановке, позиции кафедры, а, всего-навсего, в слабых способностях к науке тех, кто не стал или не сумел «защититься», или, защитившись, без оглядки покинул кафедру. Подвижников, подобных Ольшанову или Ломакину среди нашего поколения почему-то не нашлось. Конечно, доля правды есть и в этом, нас набирали без особого разбора «под общую гребенку». Были среди нас и поумнее, и поталантливее, а кое-кто и совсем наоборот. Но тут можно остановиться как раз на судьбе кого-нибудь из тех, чей талант сомнений не вызывает. Конечно, в первую очередь на память приходит Борис Кабак.

Кабак Борис Леонидович был, пожалуй, самой запоминающейся фигурой в отраслевой лаборатории. Не во всем молодом пополнении кафедры; там хватало колоритных индивидуумов, и все они вольно и частенько самовыражались. Но у Рудова в лаборатории порядки были жестче, контроль строже, и как следствие - контингент тише и скрытнее. Шеф не полагался на табельную, находился в институте безвылазно, умел пристыдить, а если надо - и приструнить. На этом фоне самоуверенность и подчеркнутое независимое поведение Бориса проступали очень отчетливо. Он не дерзил, как некоторые, и не ловчил. Он снисходительно, обстоятельно высказывал свое мнение. «Голова-а!» - нараспев, со смехом, но с несомненной похвалой высказала однажды Надежда Симонова, сама отличница и лауреатка.

Но все-таки немного предыстории. Впервые за эту приметную фамилию моя память зацепилась еще на 2-м курсе. На стенде кафедры теоретической механики обнародовали фамилию победителя конкурса курсовых работ: «Б.Кабак». Какие-то конкурсы, кто-то их проводит, а самое главное, кто-то всё-таки участвует! Например, вот этот Б.Кабак. Я почему-то ни капли не сомневался, что студент с запомнившейся мне фамилией непременно парень.

Года через два я убедился в верности своего впечатления, проходя мимо доски почета факультета. Под одной из фотографий отличников стояло всё то же - Б.Кабак. Личико может быть и не заслуживало пристального внимания, но фамилия заставила взглянуться. Темные, серьезные глаза, жесткая, еще более темная шевелюра. Узкий, обтянутый смуглой кожей подбородок с родинкой, чуть-чуть пробившиеся усики. Значит, вот он какой, победитель. Нет, его точно никто не заставлял идти на конкурс. Он это сделал сам и

намеривался взять первое место. Можно не сомневаться, приложил столько усилий, сколько нужно, чтобы выиграть.

С тех пор ухо невольно улавливало имя Кабака в случайных упоминаниях. Постепенно составилось мнение, что личность эта в своем роде в институте известная...

Лето 1978 года, военные лагеря в Кинешме. Томительные, нескончаемые сборы. Команды; дни, заполненные бегом и мастой, бесконечные построения. Осточертевшие сапоги, ремень, пилотка и жесткий воротник гимнастерки. Редкие паузы по вечерам, в которые можно приткнуться возле палатки, сволоочь пропотевшие, пыльные кирзачи, распоясаться и расстегнуться...

И в такой вот благодатный момент, когда, кажется, не только ты, а и весь мир отдыхает, почтительно-панибратское восклицание Маслова: «Ну! Боря Кабак не может не тренироваться». Мимо палатки идет паренек в трико. Он ничего не отвечает, только улыбается. Вежливо, но слегка. И тут же, напряженившись, переходит на быстрый бег, и исчезает где-то за пределами видимости. Маслов ничего не добавляет к сказанному, никто не комментирует, никому ни до чего нет дела. Что там Боря Кабак, бегающий, когда все отдыхают. Даже взрывпакет главного шутника кафедры – капитана Лобахина, грохнувший неделю спустя в Ленинской комнате, не вывел лагерь из вечернего оцепенения. Говорят, два студента, проходившие мимо, не полюбопытствовали заглянуть в окно палатки: что там такое долбануло. Наоборот, поспешили убраться подальше. Вдруг сейчас заметут, заставят что-то убирать или чинить.

Я бы не упоминал мимолетное видение Кабака, если бы через несколько дней оно не воплотилось в явь. Лагерь вышел на кросс. Предстояло пробежать километр. Не в сапогах с автоматом, а налегке, в спортивной обуви. Но всё равно, ужас как не хотелось. Не зря мы за полгода до лагерей, посреди зимы потащились в Измайловский парк. Нам клятвенно обещали, что кросс будут сдавать те, кто не сдаст лыжи. К словам преподавателей, как всегда, отнеслись с полным доверием. И вот, в мерзкую погоду: ветер и секущий мокрый снег – лыжные гонки. И я, и Женя (желающих от нашей группы нашлось только двое) окоченели, еще не дотопав до Измайлова. Страшно было и думать о лыжах, посему мы завернули в магазин. Запаслись «Вермутом». Одну сейчас – согреемся, а вторую уже после лыж, чтобы окончательно не задубеть.

Слишком поздно пришла догадка, что вторую, запасную нам будет некуда спрятать. Помалялись: бросить – не бросить, пожалели. Словом, дело кончилось тем, что стартовали мы с бойкой песней, заехали невесть куда и финишировали, когда на базе был уже объявлен розыск. На лыжи собирался встать даже сам капитан (а может быть уже майор) Лобахин...

Но, разумеется, летом на зимние результаты всем было откровенным образом наплевать. Студенты повзводно растянулись вдоль линейки, уже облаченные для предстоящего забега. Было приказано размяться, кто-то из сержантов даже вышел проводить упражнения организованно. Вообще-то в лагере был специальный физкультурник с кафедры физвоспитания. Прodelывали мы под его команду различные комплексы, и самого его, кстати, тоже величали «Комплексом». Но в этот день Комплекс был или занят, или в отлучке. И вот тут раздался голос из масс – пусть разминкой руководит знающий парень.

Возражений сверху не было, и перед строем возник маленький худенький студентик, с головы до ног в черном. Спортивный костюм, черные кроссовки, укороченная черная гривка на голове. Перед показом каждого упражнения для мышц ног, он четко и уверенно пояснял, как его делать и зачем. Непогрешимый тон вселял убежденность: вот сейчас мы правильно разогреемся и пробежим легко. В общем-то так и получилось. Мне осталось добавить, что настраивал нас на бег никто иной, как тот же Борис Кабак. И честно сознаюсь, лично я был ему благодарен.

Военные лагеря стали первым предвестием скорого окончания института, время покатились, как с горки. Не успели опомниться, уже и распределение. Незадолго до него ходили по группам в перерывы между занятиями всякие тихие личности. Спрашивали кого-нибудь, отзывали в сторонку. И очень быстро стало известно: предлагают с разных кафедр остаться в институте. К слову говоря, не так уж много было на это охотников, не раз, и не два кто-то отказывался. Наконец дошла очередь и до меня - в лице Владимира Сергеевича Талачева. Он предложил распределиться в отраслевую лабораторию при «Процессах».

Гораздо охотнее пошел бы я на свою кафедру к Виктору Павловичу Майкову, под обаянием теорий которого в то время находился. Но мечтам, как правило, свойственно сбываться наполовину: получи удочку, хоть и без крючков. Кто ж по-молоду знает, что крючки – самое важное, а без них не много стоит и удочка. Особенно, если их больше и взять-то негде. Но я согласился. А через полгода узнал, что в нашу же отраслевую лабораторию приходит и Кабак. Услышав об этом от Надежды Ивановны, сказал многозначительно: «Как же, как же. Кто же не знает Борю Кабака». Но признаться, все-таки удивился, тэкашников у Рудова еще не было.

Через несколько дней я его наконец разглядел как следует. Держался Кабак так, будто был приглашен на работу сугубо персонально и с очень важной миссией. Сразу занял и обставил рабочий стол. Был уже знаком со всеми и говорил так, как будто провел в лаборатории по крайней мере год. Громко, уверенно, бодро и весело. Со мной заговорил, как старый знакомый.

Борис Кабак был непоколебимо уверен в своем праве заниматься любой деятельностью, какую он только не избрал. И в том, что результат, которого достиг он, несомненно, самый лучший. Но надо сказать, что он

никогда не полагался на интуицию или вдохновение, а дотошно влезал в технические подробности любого дела, привлекал все доступные источники, а потом блистал эрудицией. Спорт, так спорт; стихи, так стихи; наука, так наука; деревянная скульптура, так деревянная скульптура. О любом из этих направлений он мог рассказать много такого, чего не знали, и даже не пробовали узнать другие. Одна беда, трудно было понять, придумал он это из собственной головы, или почерпнул из какой-то книги или статьи. Я, в общем, так до конца и не разобрался, где кончались у Бориса знания, и начиналось его собственное творчество.

А чужие мнения он чаще всего выслушивал снисходительно, не пытаясь встать на точку зрения собеседника. Зачем? У него была своя, точная и надежно обоснованная. Такой человек просто не мог уйти из института без кандидатской степени. И несомненно, если бы он решил остаться в нем навсегда, выбился бы в «отцы и метры». Но, насколько я его понял, Борис Леонидович никогда не считал МИХМ достойным себя поприщем.

Если обратиться памятью к тем годам, о которых я говорю, мне вспоминается одна любопытная особенность. Мы часто и много говорили. И большими компаниями, и с глазу на глаз. Но практически никогда мы не обсуждали научные и технические вопросы, темы, над которыми работали или собирались работать. Говорили о политике и человеческом обществе, беспорядках в институте и на кафедре, о мифологии, мистике, искусстве и многом другом. И никто никогда не делился ни сомнениями по работе, ни планами, идеями и смутными соображениями. На первых порах это было всё слишком личное, а затем постепенно превращалось в пустую тему, никому не нужную и не интересную.

Тем более мне запомнился один из разговоров с Борисом. Не о его резных миниатюрах, и не о каком-то модном фильме, а именно о перспективе наших в МИХМе исследований. Он, и это было для него характерно, находился полностью в курсе дел всех и каждого в лаборатории. Знал без всякой подсказки и про меня: какую тему назначил мне шеф, какую мы намерены были применять методику и какой ожидали результат. Разговор шел у экспериментального лотка, его Кабак смонтировал несколько дней назад. Он вообще впервые заговорил со мной на подобную тему, и полагаю, только потому, что застал я его в минуту благодушного настроения.

Опять же, при всём моем интересе к фигуре Бориса Леонидовича я лично никогда не искал с ним контактов. Видел с первого дня, что при всём его кажущемся радушии, собеседников он выбирает себе сам, и никак иначе. А общаться на кафедре и кроме него было с кем, стоило только оглядеться вокруг. Но дело произошло из-за пустяка.

Перед монтажом лотка Борис одолжил у меня стеклорез. Этот инструмент был единственным на всю лабораторию, достался он мне вместе со всем наследством Надежды Ивановны, а добыл его еще прежде Иван Житков, о запасливости которого ходили красочные небылицы. Именно ему принадлежал когда-то сейф, набитый всяческим добром и перешедший теперь ко мне. А потом в разговоре я неосторожно упомянул, что, вот мол Боря, две недели, как взял стеклорез и до сих пор не вернул. Кабак таких вещей без внимания не оставлял. Уже на следующий день, проходя к своему стенду мимо отсека, он позвал меня за собой.

Там, в своем дальнем отсеке он, перво-наперво, изящным жестом протянул мне инструмент. А затем не удержался и любовно погладил свой свеженький лоток. Выполнен он и впрямь был очень аккуратно, и волей-неволей пришлось похвалить работу Бориса Леонидовича. А заодно и поинтересоваться назначением стенда. Кабак не удержался. Слово за слово, и его понесло. Языком хорошего научного доклада Боря изложил, что и как он собирается здесь измерять. Тот самый неуловимый эффект Марангони, вокруг которого постоянно крутились научные разговоры нашего шефа.

Я позволил себе усомниться. У меня за спиной к тому времени уже осталось несколько серий собственных опытов, которые я втайне оценивал, как фатально неудачные. Они разбивали в пух и прах принятую методику эксперимента и даже давали первые намеки на необоснованность исходной концепции шефа. По моему мнению, пора было отказываться, по крайней мере, от такого рода постановки моей темы. Но шеф оставался глух и упрям, настаивал на продолжении и завершении экспериментальной части в неизменном виде. Шла ведь речь не о моей кандидатской, а о разделе его докторской.

Другой раздел должен был подготовить Борис Кабак. И в методике лежал тот же принцип – создание невозмущенной поверхности жидкости и замер результатов произведенных на нее микровоздействий. Или поверхности, которую можно посчитать невозмущенной. Не знаю, чем закончились эксперименты Кабака, и вошли ли их результаты в его кандидатскую работу, но тогда он только стоял на пороге. И на пороге неведомого, и на пороге блестящего будущего. Это так и выплескивалось из его выразительных глаз, и замирало на общее обозрение, подкрепленное уверенными увлеченными фразами. Потом он плавно перескочил на мою тему.

Тут уж я мог возражать с привлечением фактов. Но на мгновение мне показалось, что я разговариваю не с Борисом, а с самим Геннадием Яковлевичем. Те же подходы, те же общие слова, те же неуязвимые аргументы. Опыт просто не может идти иначе, чудес не бывает. А если пошел, тем хуже для тебя. И уж тем более, поскольку с тобой не согласен сам Рудов.

Сказать, кстати, это был еще тот период, когда я сам уважал шефа не меньше, чем Кабак. Более того, я им восхищался. Его руководство лабораторией казалось мне непостижимым искусством. Собственно, было ясно любому из нас, что вся работа отраслевой держится на одном Рудове. Добавлю, что моё мнение о Геннадии Яковлевиче, как первоклассном руководителе и профессионале, не переменялось и сейчас.

Но в науке дело обстоит иначе. Здесь не бывает авторитетов. Только факт, группа фактов, система фактов.... И понятия, которые так и остаются понятиями, пока их не подкрепят те же упрямые факты. Так мне думалось по молодости.

Я старался не замечать непомерных славословий в адрес зав кафедрой на кафедральных заседаниях. Старался не слышать грубых похвал заведующему отраслевой лабораторией на изредка собираемых междусобойчиках. И не только на них. Как-то Ольшанов, выведивший уравнение равновесия для расслаивающихся смесей, похвалился, что при упрощении условий, его выкладки переходят в закон Рауля. «Выскочил Рауль!» - как он выразился. Гришка Фастыковский, с которым он поделился радостью, только рассмеялся. «Если бы у тебя выскочил Рудуль, - сказал он сквозь смех. – Вот тогда бы я был за тебя спокоен!».

Я находился еще на полпути к подобному скепсису, хотел и заставлял себя верить, что наш шеф все-таки ученый. Его интересует не только экономическая прибыль от наших внедрений и собственное «я», но и более высокие вещи. Вероятно, наши разногласия найдут достойный выход и выльются в результат, который будет не стыдно обнародовать.

А Борис Леонидович, как я заключил из того нашего разговора, стоял еще на более ранней стадии. Сказалось и то, что он пришел на полгода позже, и со своей установкой в связи со всеми «реконструкциями» застрял по крайней мере года на два против моего. Я все-таки работал не с нуля, получил в руки уже изготовленный аппарат. Это уже потом я пришел к выводу о его исследовательской непригодности.

Боря Кабак, возможно, вообще не столкнулся с необходимостью переделать всю установку наново, с учетом навороченных ошибок. К тому же, мне кажется, слово «ошибка» примененное к его собственным действиям, категорически противоречило самому характеру Бориса Леонидовича. По крайней мере, на словах он декларировал всемогущество возможностей человеческого разума, особенно в сочетании с деловой энергией и напором. Не нужно сомневаться, имел он в виду в первую очередь самого себя.

И всё-таки я уверен, что в душе Бориса Кабака назревали всё те же неприятные мысли, которые скоро стали переполнять меня, а также указали дорогу моим предшественникам. Несмотря на бодрые разговоры, Борис Леонидович сочинял почему-то меланхолические, задумчиво-грустные стихи. От резных женских фигурок перешел к замыслам о фатальности всего происходящего. И, наконец, задумал скульптурную работу, названную им же самим – «Падение Икара». Добавлял он к этому названию и второе, поясняющее – «Прощание с крылом».

Икар, античный греческий герой, как известно, получил крылья, которые предназначались только для того, чтобы преодолеть водную морскую преграду и добраться от Лабиринта на острове до материка. Больше ни для чего они годны не были. Но Икар, по молодости и беспечности, вообразил, что теперь ему доступно все небо. Действительность жестоко напомнила о себе, Икар упал в море, так и не добравшись до родины.

Судьба наивного Икара – судьба всех, кто пытается достичь цели негодящимися для этого средствами. Житейски трижды правы те, кто и не пробует взлететь к солнцу. Они по крайней мере не падают. Во всяком случае, их падение, если оно и происходит, вовсе не выглядит падением и гибелью....

Если взять конкретно мой случай, то или обстоятельства, или научный руководитель, а вернее всего я сам, поставили меня перед выбором. Продолжать опыты в старом ключе бесполезно. Они ничего не дадут. Замысловатое стеклянное чудо техники, с которым я работал, кроме сложности, а лучше сказать усложненности конструкции, обладало еще одним принципиальным недостатком. А со спецификой темы шефа – разбавленные и сильно разбавленные растворы, этот недостаток вырастал в знак запрета. Мой многополостной аппарат нельзя было с уверенностью отмыть от остатков предыдущего опыта. При работе с составами рабочей жидкости на уровне десяти тысячных долей процента получалась самая настоящая каша. Результаты попросту не воспроизводились. В конце концов, в отчаянии от тупика, я собрал последовательную цепочку из стандартного лабораторного стекла. Она по назначению полностью заменила один мой замысловатый стеклянный уникум.

Но действовать пришлось по секрету от шефа. Дома, на собственной кухне. Если хорошенько взглянуть – кухня, это та же лаборатория. Причем, в чем-то оснащенная лучше наших лабораторных дюралевых стенов. На ней есть вытяжка, канализация, водопровод, электричество и газовая горелка. Собрать импровизированные стенды на больших листах фанеры оказалось пустяковым делом. Силиконовые шланги, шлицы, провололочные хомутики. Не надо ведь ни красоты, ни акта приемки! Секундомер, термометры я временно позаимствовал в институте. Причем точные термометры Маклеода, которых Сашка Золотников, с подачи Ольшанова, выписал из неликвидов в Рустави целую связку.

Не хватало только аналитических весов и хроматографа. Ну, тут уж ничего не поделаешь! Не потащишь же из лаборатории половину отсека. Пришлось возить туда-сюда пробы в герметичной таре. Но это совсем

не задержало опыты. Наоборот, я как бы прибавил к работе вторую смену. И дней через двадцать получил надежные, воспроизводимые результаты. Увы! Искомый нами эффект был равен нулю, или настолько мал, что мог быть уловлен лишь на совсем другом техническом уровне эксперимента. Во всяком случае, никакого влияния на изучаемые нами макропроцессы он бы не оказал. Точка! По иронии судьбы я через месяц нашел подтверждение своему выводу в случайно попавшемся мне в руки научном журнале медицинского направления. Причем там об этом говорилось как о давно и прочно установленном факте.

И что же оставалось делать. В конце концов, наработанные данные позволяли двигаться дальше. Я намекнул шефу, что можно заняться просто кинетикой испарения смесей, в которой, судя по литературе, было достаточно неясных пунктов. Ответ состоял из единственного слова – «утопия». Обстановка давала шансы на другой вариант. Продолжить, как ни в чем не бывало, опыты, пройти все серии, а затем слегка «отредактировать» данные. Точнее, просто отбросить все лишние, которые не идут в струю. Добавить ко всему оставленному приемлемое математическое сопровождение. Дело могло выгореть, тем более, что лаборатория Рудова была единственным подразделением кафедры, в котором занимались «неудобными» массообменными процессами. Исследования всех остальных групп (кроме Буткова) так или иначе вертелись вокруг внутренней гидродинамики аппаратов. На безрыбье дело выглядело вполне надежным, мешали только внутренние колебания.

А заняться исследованиями на свой страх и риск, по собственным соображениям, вопреки мнению шефа, означало пойти путем Ломакина и Ольшанова. К сожалению, их твердостью духа я не обладал. И признаться, не понадеялся на собственные теоретические способности. Ведь на этом пути, всё, до самой последней запятой пришлось бы делать самому, не только без поддержки, но и под дождем ядовитых насмешек. На тайные бесплодные теоретические поиски ушло года полтора. Если бы хоть какой-то просвет! Тогда бы МИХМ получил еще одного чудака с научными заскоками. Но судьба проявила милостивую жестокость, не дав никакой надежды. Оставалось по-хорошему попрощаться с кафедрой и институтом.

Продолжив аллегорию Бориса Кабака, можно сказать, что передо мной, как перед любым из нас, молодых михмачей, лежало три пути из Лабиринта. Героический, назовем его путем Тезея. Сокрушить победоносным мечом все препятствия, и предстать перед всем миром победителем. Правда Тезей не застал уже в живых отца и бросил на произвол судьбы возлюбленную. Но таков уж удел героя.

Путь прагматический. Назовем его путем Дедала, благополучно улетевшего из Лабиринта и с самого острова Крит на собственноручно изготовленных крыльях. Он знал, что делал, не увлекался в неизведанное и остался в человеческой памяти, как один из лучших созидателей и строителей.

И третий, трагический путь потерь и утрат, путь Икара, хотевшего больше, чем он может, а в результате не получившего ничего и даже потерявшего то, что было. Конечно, Икар Икару рознь, легенду сложили не о том, кто опустил крылья, не дотянув до суши, а только о том, кто распрощался с крылом, а заодно и с жизнью в героическом порыве, попытке достичь Солнца. Не стоит же бросать косые взгляды ни на Дедалов, не захотевших стать Икарами, ни на Икаров, решивших перейти в Дедалы, а вспомнить еще раз о тех Икарах, кого своенравная когорта Дедалов не захотела признать Тезеями. Ведь как бы не хотелось Дедалам, так устроен мир, что Тезеи выходят только из Икаров.

Вместо приложения

НАША ГРУППА

1979год выпуска. Группа Н50, она же (на старте) О15.

Александров Николай – на повторку.

БОЛДЕНКОВА ТАТЬЯНА (комсорг 75-76)

Винци Ференц – забрал документы.

Воронов Юрий – отчислен.

Грах Нелли – отчислена.

Дабижа Наталья – забрала документы.

ДМИТРИЕВА МАРИНА (комсорг 77-79)

ЗУБЦОВА РАИСА

КАРПОВА ЛЮДМИЛА

Кокорева Татьяна – отчислена.

Лапиш Нора – переведена.

МАЛИНОВСКАЯ ЗИНАИДА

МАСЛОВ ВЛАДИМИР

ПАНДУР ЛАСЛО
 ПУГАЧЕВА ГАЛИНА
 РОДОХЛЕБ ИГОРЬ
 РЫЖЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ
 Савельева Ольга – (с 1976г.) – на повторку.
 САВИНА НАТАЛЬЯ (староста)
 САДУНОВА НАДЕЖДА
 СЕРЕГИНА ЛАРИСА
 СИДОРОВА ЕЛЕНА
 СИНЯВСКАЯ ПРИНА
 СМЕРНОВА ЛАРИСА
 Терентьев Юрий – отчислен.
 Усенко Сергей – отчислен.
 ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР (с 1977г.)
 ЧУЖИНОВА НАТАЛЬЯ
 ЯКОБИ ЕВГЕНИЙ (профорг)

НАША ЗАЧЕТКА (Список тех, кто обучал студентов группы Н50 выпуска 1979г.)

Я, Рыженков В.Б., тут постарался припомнить свою зачетную книжку, точнее, когда и что мы в нашей группе сдавали. И, соответственно, кто из преподавателей читал лекции (л), и вел занятия либо лабораторки. Не всех преподавателей помню по именам-отчествам, зачастую и не знал. В этом случае после фамилии стоит знак - ??

Конечно, за абсолютную полноту и очередность предметов не ручаюсь, но фамилии преподавателей привожу точно. Данные по курсовым относятся лично ко мне.

1974 год, 1 курс, 1 сессия. Экзамены:

Математика	Истомина П.И.(л)	Милованова Л.Н.
Технология констр. материалов	Майорова В.Л.(л)	Суркова Л.А.
История КПСС	Михалутина Д.К.(л)	Баскакова Н.И.
Начертательная геометрия	Новиков В.В. (л)	Дубицкая Г.В.
Зачеты:		
Химия	Шидловский А.А. (л)	Сколис Ю.Я.
Английский		Коваленко А.С.
Черчение		Пучев В.В. Рязанский В.В.
Физкультура		(не знал ни фамилии, ни ИО)

1975 год, 1 курс, 2 сессия. Экзамены:

Математика	Истомина П.И. (л)	Милованова Л.Н.
Физика	Жежеров М.И.(л)	Монахов В.Н. Федотов М.Г.
История КПСС	Михалутина Д.К. (л)	Баскакова Н.И.
Химия	Шидловский А.А. (л)	Кесслер Ю.М.
Зачеты:		
Сварка		Кононов А.А. Уткин В.Ф.
Английский		Коваленко А.С.
Черчение		Пучев В.В. Рязанский В.В.
Физкультура		Рыбин Ю.И.

1975 год, 2 курс, 1 сессия. Экзамены:

Математика	Истомина П.И. (л)	Истомина П.И.
Физика	Степанюк В.Н. (л)	Курко Т.М.
Сопромат	Степанов Р.Д. (л)	Щеглов А.А.
Теор. мех.	Сахарова Д.Д. (л)	Сахарова Д.Д.
Философия	Хотякова В.А. (л)	Хотякова В.А.
Зачеты:		
Орг. химия	Гончаров Г.С.(л)	Фрагина А.Р.
Английский		Сидорова Г.Н.

Черчение

Матанцева О.Н.
Воскресенский В.П.
Рыбин Ю.И.
Гашенко А.Т.

Физкультура

Воен-ка

1976 год , 2 курс, 2 сессия. Экзамены:

Физика

Степанюк В.Н.(л)

Нифантьева Р.А.

Сопромат

Степанов Р.Д. (л)

Щеглов А.А.

Теор. мех.

Сахарова Д.Д. (л)

Булгаков Г.В.

Философия

Хотякова В.А. (л)

Разумова Л.Д.

Зачеты:

Физ. химия

Норкина Р.А. (л)

Садиленко??

Математика

Истомина П.И. (л)

Лунц Г.Л.

Английский

Сидорова Г.Н.

Выч. Техника

Крылова В.С.

Физкультура

Полянкин П.М.

Воен-ка

Гашенко А.Т.

1976 год , 3 курс, 1 сессия. Экзамены:

Электротехника

Сущенко А.А. (л)

Шишов Г.Д.

Детали машин

Флоринский М.М. (л)

Лазарева И.В.

ТММ

Петрокас Л.В. (л)

Гущин И.А.

Полит. Экон.

Ходжаев А. М. (л)

Барабанов И.П.

ОХТ

Беренгартен М.Г. (л)

Бондарева Т.И.

Зачеты:

Английский

Сидорова Г.Н.

АСУП

Крылова В.С.

Гидравлика

Ломов ?? (л)

Юрченко В.А.

Воен-ка

Качур И.И. Голубь?? Родионов Н.И. Ириков Г.А.

Курсовой по ТММ - конс. Петрокас Л.В., прин. Снеговой А.Г.

1977 год , 3 курс, 2 сессия. Экзамены:

Электротехника

Сущенко А.А. (л)

Шишов Г.Д.

Детали машин

Флоринский М.М. (л)

Лазарева И.В.

Материаловедение

Мельниченко Е.В. (л)

Фадеева Т.А.

Полит. Экон.

Ходжаев А.М. (л)

Барабанов И.П.

ОХТ

Беренгартен М.Г. (л)

Бондарева Т.И.

Зачеты:

Английский

Сидорова Г.Н.

АСУП

Крылова В.С.

Гидравлика

Ломов ??(л)

Юрченко В.А.

Экономика

Топалер Л.З. (л)

Сафонов Е.?

ПТМ

Флоринский М.М. (л)

Бакин Ю.Н.

Воен-ка

Голубь ?? Фильшин А.М. Захаров Э.С.

Курсовой по Деталям - конс. Лялина О.И., прин. Шепелев А.В.

1977 год , 4 курс, 1 сессия. Экзамены:

Процессы и аппараты

Давиденко А.Н.(л)

Павлов В.П.

Термодинамика

Веселов В. А. (л)

(не помню)

Гидравлика

Куликов Е.М. (л)

Плетнев П.П.

Экономика

Топалер Л.З. (л)

Сафонов Е.?

Конструирование(КРАМ)

Балдин Б.Г. (л)

Смирнов Р.С.

Зачеты:

Н.коммунизм

Лукьянова ?? (л)

Вавилов Е.П.

Сов. право

(?) Бонифатий Прокопьевич (л) Безрук Н.И.

Коррозия

Муров В.А. (л)

Шевченко А.А.

Воен-ка

Каргин?? Лобахин А.А. Волынец А.З.

Курсовой по ПТМ - конс. Сильченков А.И., прин. Целиковская А.И.

1978 год , 4 курс, 2 сессия. Экзамены:

Процессы и аппараты

Давиденко А.Н. (л)

Артамонов Д.С.

Теплопередача

Веселов В.А. (л)

Арутюнов Б.А.

ОВЗ

Ёлкин В.З. (л)

Филькин В.М.

Экономика
Английский

Дедеян Р.Я. (л)

Сафонов Е.

Зачеты:

Н.коммунизм
Сов. право
Коррозия
Воен-ка

Лукьянова?? (л) Островский А.А.
(?) Бонифатий Прокопьевич (л) Безрук Н.И.
Муров В.А. (л) Шевченко А.А.
Кузнецов С.? Лобахин А.А. Коплебенко ??

Курсовой по Процессам - конс. Ляндрес С.Э., прин. Балдин Б.Г.

1978 год , 5 курс, 1 сессия. Экзамены:

Автоматизация ХП
Технология маш.
ОПП
Специальность(НХТ)
...
Охрана труда

(Майков В.П. Беленов Е.А.Евстафьев А.Г.) (л)

Андреев А.А. (л) Бугров ??
Беленький А.А.(л) Суркова Л.А.
Смирнов Л.Г.(л) Ляпунова Н.Е.
Карпов В.С.
Гончаров В.В.
Бондарь В.А.

Зачеты:

Худ. констр.
ГО

Александров И.В.(л)
Чебураков И.Я.

Курсовой по специальности - конс. Карпов В.С., прин. Майков В.П.

Черная строчка

(Выброшенная глава из раздела 7 «В МИХМе после МИХМа»)

Однажды, когда уже прошел ремонт исследовательской лаборатории, и начался вынос оборудования из лаборатории учебной - по крайней мере, «динозавр» в нашем отсеке уже стоял – из-за дверей коридора донесся оживленный шум. Распахнулись обе створки...

Шумело по крайней мере человек восемь. Из всех отсеков стали быстро подтягиваться любопытные. Мы присоединились, поскольку произошло что-то из ряда вон выходящее.

- Какую штуку нашли! Еще одну нашли! – раздавались отдельные голоса тех, кто понял, в чем дело. По лихорадочному, возбужденному тону можно было вообразить, что обнаружено атомное сопло двигателя марсианского звездолета или даже скафандр пришельца от самой Альфы Центавра.

В центре взбудораженной кучки стоял один из двух «дедов» - Игорь Сергеевич Уткин. Его очки как-то задорно блестели, а руки вознесли высоко над головой короткий толстый цилиндр из уже потускневшего темного металла. Нет, он не демонстрировал находку, он оберегал ее от назойливых любопытных рук,

которые так и тянулись со всех сторон. А при высоком росте «деда» самым естественным выходом было задрать опасную штуковину как можно выше. Хотя на вид она была вполне безобидна – что-то вроде ручного мотоциклетного насосика.

- Покажите, покажите! Посмотреть-то дай! – неслось справа и слева.

- Еще чего! – вдруг строго оборвал всех Уткин. – А если она заряжена? Нет уж, пойду, отдам Иван Ивановичу.

И отодвинув плечами любопытных, он стал подниматься по лестнице, еще к тому времени не отделанной мрамором. Ну, если речь зашла о строгом парторге Сидельникове – дело ясное. Представление отменяется. Все потянулись на свои места.

- А что это такое было? – спросил я вполголоса у хмурого Ломакина. Тот еще тише буркнул фамилию, произносить которую не то чтобы запрещалось, но... Как только она мелькала в разговоре, все сразу поневоле оглядывались по сторонам.

Короче, это была та самая «стреляющая трубка», способная прошить навывлет человеческое тело. Смертоносная самоделка и оружие грабителей. Изготовленная здесь же, на токарном станке мастерской кафедры умелыми руками ее бывшего сотрудника. Прочие подробности остались в области догадок. В каком она состоянии? Недоделанная заготовка, забракованный экземпляр или еще одна завершенная убийственная игрушка, припрятанная «на всякий случай». Не знаю даже, из какого завала и хлама ее выгребли, в каком потайном углу ждала она своего последнего часа.

От вопросов любопытных Уткин потом жестко отмахивался, хотя по натуре своей и любил посудачить о прошлых временах. Например, как еще не декан, а мэнэс Соломаха вручную прокачивал воздух через трубку с шариковой насадкой, как сам проректор Петр Иванович Николаев имел когда-то одни-единственные брюки и приходил в лабораторию весь в заплатках... В общем, обычные стариковские побасенки. Но на эту особую тему где-то был наложен строгий запрет, причем запрет двойной. Ведь до сих пор в появившихся описаниях тех событий имя преступника не разглашается. Именуют его то Качуриным, то Бачуриным. И похоже, он сам когда-то угадал подобный исход, если уж оставил в журнале местных командировок демонстративную запись. Причем, случайно или намеренно, но сделана она была темными чернилами перьевой ручки, а потому резко выделялась черной строчкой на фоне бледно-синих шариковых записей. Там и стояла фамилия этого уже не потенциального, а вполне состоявшегося грабителя, причем однофамильца известного селекционера, а против неё – нахальный комментарий: «Вызов в прокуратуру».

Запись оказалась предпоследней, на следующей строчке использование журнала просто прекратилось. Причины этого вполне ясные, после кровавого ЧП в институте начали ужесточать порядки. Усилили табельный режим, на местные командировки ввели специальные служебные записки с визой непосредственного руководителя. Проректор по режиму Зверева была отстранена от должности, и осенью над МИХМом возшла звезда нового фаворита – Анатолия Георгиевича Рязова. Вчерашний пятикурсник, свежеепеченный дипломант сразу стал проректором!

Но волею судьбы уже никому не нужный журнал тихо провалялся в ящике стола на ПАХТ целых пять лет. Впрочем, как только мы его обнаружили и засветили, завлаб Костя Харитонов тут же изъясил вредную книжку. Та же участь постигла и один из старых, драных кафедральных стендов с весьма крамольной фотографией – случилась же такая нелепость, что на ней непостижимым образом оказались запечатленными среди прочих студентов сразу и будущий принц, и будущий нищий – старшекурсник Анатолий Р. и старший лаборант Владимир М. на фоне фильтр-пресса. Снимок сделали, вероятно, где-нибудь за год или два до нападения на кассу. Стенд лежал среди прочих в хламе и перед отправкой на костер Круглого Двора в скандальную фотографию, кстати и не слишком четкую, ткнул пальцем кто-то из ветеранов. А припрятать такую «дикушку из кунсткамеры» просто не пришло в голову.

Впрочем, всё эти запреты выглядели больше чем странными, и вернее всего стали просто отголоском бурной деятельности, развернутой проректором Рязовым, чтобы делом оправдать своё высокое назначение.

Ведь как можно скрыть то, что знают практически все. Не говоря уже про мемориальную дощечку, размещенную на кассе (Павлова Антонина Семеновна. 1 апреля 1977г.), дело произошло если не на глазах, то на слуху у всего института.

Помню, мы болтали тогда с Игорем в коридоре после второй пары как раз недалеко от перехода из старого корпуса. Вокруг кто проходил, кто стоял – всё как обычно. Ни криков, ни шума, ни паники. Подошел Сашка Симачёв и говорит как бы промежду прочим:

- Сейчас кассира убили.

Разумеется, мы отреагировали в том смысле, что помним – сегодня Первое апреля. Можешь заливать дальше! А он упорно и без улыбки:

- Вы что, не верите? С нами сын ее учится, сейчас плачет, только что узнал.

Постепенно дошло, что это не шутка, слух распространился быстро и со всех сторон. Но в сторону кассы никто не кинулся. Чувствовали и понимали, там наверняка всё заблокировано наглухо, и делать там нечего. Я же, напротив, помчался во все лопатки прямо к читальному залу. Ведь это была пятница, на выходные нужно было запастись данными из машиностроительного справочника. Что бы там ни было,

проекта по «Деталям» никто не отменял, а посидеть после занятий в читалке, судя по всему, сегодня не получится. И кто знает, не отменят ли занятия в субботу.

Читальный зал был удивительно, а вернее, абсолютно пуст. Но библиотекаря еще сидела за стойкой. Я кинулся к ней:

- Мне Решетова! Справочник!

- Да вы что, молодой человек! Не знаете разве? Институт закрывается.

- Ну... мне только на минутку! Я прямо здесь посмотрю.

Вздохнув, она всё-таки встала, проворчав при этом очень внятно: «Им хоть весь мир взорвётся! Подавай Решетова и всё!».

Конечно, через минуту-другую я справочник вернул. А внизу, в большом вестибюле уже тянулись очереди к перекрытым выходам. Оперотрядники выпускали только тех, кто предъявит студенческий билет. Всех прочих отправляли за справками в деканаты. Кафедры дожидались, пока в МИХМе не останется ни одного студента, чтобы последовать за ними.

Подробностями происшедшего не особенно кто и делился, все старались побыстрее выскользнуть на вольный уличный воздух. Да и не много ещё было таких, кто мог рассказать хоть какие подробности. А они, разумеется, помалкивали.

Первые крохи о погибшей кассирше и преступниках я услышал только на следующей неделе, на занятиях по военке, от подполковника Качура. Штатный идеолог кафедры воздавал должное героизму смертельно раненой женщины, не жалел грязных слов в адрес ее убийцы. Но при этом чувствовалось, что перед нами не гуркинское «сегодня волосы отращиваете, завтра самолёты за границу угоняете», то есть не казенная беседа на заданную тему. Подполковник сидел за своим столом весь какой-то скомканный, сбивался с фраз, чувствовалось его искреннее неприятие того факта, что люди с высшим образованием способны пасть до подобной мерзости. От наших же вопросов о подробностях дела он только морщился.

Тем не менее, речь тогда шла именно о двух преступниках, то есть о тех, кто непосредственно совершил нападение на кассу. Они, без всякого сомнения, были взяты в тот же день, и даже час.

Впрочем нам, студентам, среди всех забот и учебы было не до криминальных выродков. Да и чуть позже, наступившим летом, в Воскресенском стройотряде, я не помню никаких разговоров на эту тему. А ведь в задержании одного из грабителей, «молодого», удравшего через галерею, принимал непосредственное участие именно Рязов, нынешний командир Воскресенского отряда. Не помню, знали ли мы это. Наверное, кто-то и знал. Но рискнул бы кто-нибудь попросить его рассказать, как было дело!

К исходу лета новый убийственный случай – собственноручная смерть студента в Кинешме – совершенно вытеснила из нашей памяти и Антонину Семеновну Павлову и двух подонков. О третьем же их соучастнике практически вообще никогда не говорили. И наверное, никогда я не вспомнил бы о нем, не попади по распределению на ту самую кафедру.

Я уже говорил, что на имя преступника Мичурина, а звали его всё-таки так, существовал если и не официальный, то тем не менее строгий запрет. Во всяком случае, преподаватели, привилегированная и элитная часть михмовцев, его никогда не произносила. Впрочем, большинство из них и нельзя назвать его знакомыми, между верхними и нижними работниками ПАХТ существовала чёткая дистанция. Лишь единственный раз, да и то с глазу на глаз, вспомнил о нём Рудов. А остальные, то есть рядовые сотрудники... Кстати, совсем немногие из застигнутых мною, были знакомы с ним лично. Всего лишь «деды», конечно же Пирогов и Ломакин, да разве еще Надежда Ивановна.

Ломакин, это сразу чувствовалось, вспоминал о Мичурине с отвращением и никогда о нем не говорил. Второй из «дедов» - Черемухин, десантник времен Отечественной, вообще был не склонен к любым разговорам с нами молодыми, а больше ворчал и матерился. Так что всё, что, в конце концов, проникло и просочилось, исходит в основном от двух людей – Уткина и Пирогова. Они тоже отделялись от расспросов односложными ответами, но иногда, к слову, или под настроение могли и обмолвиться незначительной фразой. Только постепенно из этих обрывков набралась пригоршня полулегальных отголосков. Которые, кстати, не всегда вяжутся с появившимися нынче рассказами.

Но, кроме кафедры, был и еще один ручеек воспоминаний. Волею происшедших событий мы оказались коротко знакомы со сторожами и сторожихами из вневедомственной охраны института. Это были дедки и бабки, почти поголовно пенсионеры. Самый известный из них – бессменный вахтер стеклянного вестибюля, вечно торчащий за окошком будки тепло одетый старик в очках с толстыми стеклами. Евгений Пирогов всегда раскланивался с ним и почтительно величал Титычем. Хотя был тот не просто Титыч, а ни много, ни мало – Арсений Титович. И фамилию носил соответственную. Мы с Витькой хихикали, подражая то ли Остапу Бендеру, то ли героям Зошенко: «Какой он вам Титыч!? Он – Арсений Слыщинский!». Среди охраны, впрочем, Титыч носил неуважительную кличку Пан Зюзя.

А имя самой громогласной из бабок было не менее примечательно. Звалась она Анна Ивановна Героева. На нее-то и сетовала другая бабулька – Елена Николаевна: «Вот так, сынка. Другой бы костей не собрал, а таким всё, как с гуся вода». Сама бабка Лена прошла тяжелейшую судьбу – смолоту торфоразработки, полная потеря здоровья вплоть до бесплодия, воспитание чужих детей, вечная суета и копеечные заработки.

Однако, что было общего у нас со сторожами? Нас свела вместе лихорадочная деятельность Ряузова. Став проректором, тот всеми силами бился над проблемой пропускного режима. Она никак не давалась, сторожа-пенсионеры отказывались работать в жестком ключе, а отступать Ряузов не привык. Да похоже и некуда было. Побившись несколько лет, молодой проректор пришел к последнему варианту – поставить вахтерами инженеров.

Так мы и заступали по три-четыре человека, двое стояло в единственных открытых дверях стеклянного вестибюля, а кто-то возле единственных разрешенных к открыванию ворот во дворе. Они теперь всегда были заперты и пропускали только машины. Студентам и сотрудникам выходить и входить через эти ворота строго запрещалось. Даже по пропускам. А стоявшие при входе теперь должны были каждому рычать: «Стой! Пропуск!». Особенно хорошо выходило это у Гришки Буланова. Главный же, парадный вход постоянно стоял запертым и открывался лишь по особым случаям.

То есть не то, что прежде, что было совсем недавно! Бежишь, опаздываешь или нужно что-нибудь втащить либо вытащить – кратчайшим путем, под арку и в ворота, распахнутые уже с самого утра. А если удобнее, двигай прямо через парадный, в корпусе А. Правда, здесь и в старые времена полагалось предъявлять пропуска или студенческие, но ведь когда спросят, а когда и нет. Спрашивали их в основном у студентов.

Об этом и говорила бабка Лена, когда осуждала Анну Ивановну. Именно через парадный вход в институт и вошли грабители, а она не проверила их пропуска. Ведь весь преступный план строился на доступности кассы, которая была практически у входных дверей. В случае провала – три шага по коридору, десять ступенек вниз, распахнул двери, и вот она – улица Карла Маркса. Тут же, наперерез машинам, идущим часто, но не густо, перебежать улицу в узкий двор между домами, а дальше сплошное переплетение дворов, можно петляя уходить в любую сторону.

Говорили, что у главного грабителя – «старого» - нашли планы расположения касс трех ближайших институтов, в том числе МИСИ. Якобы, они нацеливались провести всю цепочку ограблений чуть ли не в один день. Сомнительно, но понятно, что варианты взвешивали всесторонне и остановились на МИХМе. Он был самым беспроblemным. Я кстати, всегда удивлялся, в чью мудрую голову пришла мысль вывести кассу из бухгалтерии через коридор в отдельное помещение. Ведь прежде касса помещалась не под лестницей, а в отгороженной комнатке самой бухгалтерии, она так и сохранилась, с подоконником и окошечком, и была превращена в помещение для отдыха.

На такую кассу, со входом через бухгалтерию, вряд ли бы покусились эти преступники-дилетанты. Но даже и после всего случившегося, никто не вернул кассу назад. Наверное решили, что теперь уже не имеет смысла. Лучше перекрыть все входы и выходы.

Конечно, недобросовестность Анны Ивановны грабителей успокоила. Пропусков у них никто не спросил, дверь доступна. Кто знает, как бы поступили они, наткнувшись на досадное препятствие. Но она же и вышла им боком. Халатная вахтерша не вовремя ушла пить чай. Опять же, не поступи так Героева, а вертись у своего стола или на лесенке, может быть, не было бы ни ограбления, ни убийства. Но зато, когда убегающие преступники кинулись к дверям, чтобы сразу исчезнуть из поля зрения, они вдруг оказались запертыми. Дальнейшее известно. «Молодой» понесся по коридору к стеклянному вестибюлю, из-за поворота ему вслед метнулись оперы во главе с Кроновым и Ряузовым, он свернул по циркулю к галерее, в конце ее столкнулся со студентками. Тут и выстрелила вторая трубка (на потолке еще долго оставался след от пули), однако особого впечатления не произвела – выстрелы были бесшумными. Но замешательства оказалось достаточно, подоспели оперы.

Двусмысленность такого исхода и отвела кары от повинной головы Анны Ивановны. Впрочем, наверное, карать в тогдашнем ведомстве вообще были не склонны. Ведь куда более сильно прощтрафился в своё время и Титыч. Речь о рояле, стоявшем в здании МИХМа много лет на втором этаже против кабинета ректора. Подъехала машина, и пока некий мужичок выяснял у Титыча, как открыть стеклянные двери, четверо в рабочих халатах выволокли рояль. Все свершилось быстро. Слыщинскому сунули под нос какую-то бумажку, и пока Пан Зюзя ее вертел, закинули тяжелый инструмент в машину и уехали. Кто это был, осталось неизвестным.

Конечно, случай сравнительно безобидный. Все остались живы. Рояль, хоть и стоил приличных денег, на самом деле был никому не нужен и только занимал место. И его нельзя было даже списать, продать, подарить или выбросить. Он принадлежал музыкальной школе, которая не находила возможности его забрать, и помещения, где разместить. Но прямая вина вахтера от этого не становится меньше...

Цепочка нелепостей, начатая дверью, запертой вахтёршей на простую палку, потянулась дальше и не дала уйти и «старому». Пока ловили «молодого», он хладнокровно поднялся по «лестнице с атлантами» на второй этаж, затем спустился во двор. Ворота были открыты, тревога только-только начиналась. Вахтер, сроду не проверявший здесь пропусков, дремал на скамеечке. Но «старый» решил не рисковать и потихоньку пошел вдоль наружной стены корпуса Л к узкому заднему дворику. Путь ему, наверное, был известен.

Затем «старый» пробрался мимо В корпуса к заваленным воротам. Их верх тогда еще не был оплетен колючей проволокой. Не исключено, что его сообщник Мичурин мог наблюдать за ним через окно лаборатории. Известно другое, уже позвонили «дедам» и предупредили, чтобы они следили за вероятным путём отхода грабителя, а по возможности его перекрыли.

Но не надо забывать, было Первое апреля. А михмачи весьма щедры на розыгрыши. Уже на моей памяти людей вызывали якобы в военкомат, на совещание, в профком за путевкой и много еще куда. Верхом нелепости стало сообщение В.С. Талачеву о посылке из солнечного Рустави, будто бы застрявшей на Курском вокзале. Подготовил интермедию Боря Кабак, но контрольные звонки случайно убедили Владимира Сергеевича в достоверности сообщения. Он отправился за посылкой и поднял на уши несколько транспортных подразделений.

Одним словом, «деды» посмеялись и не тронулись с места.

Грабитель спокойно перемахнул через ворота. И ... наткнулся на проходивших мимо двух милиционеров, уже вызванных в МИХМ. Те пожурили его за несолидное, не по возрасту, поведение, прошли дальше, и вдруг через несколько шагов остановились.

- А ведь нас как раз в этот институт и вызывали! – сказал один из них и оглянулся. Станный мужчина, лазающий среди бела дня через ворота, удалялся в сторону Басманной.

- Догони-ка его, проверь документы.

Милиционер кинулся вдогонку. Дело закончилось выстрелом третьей трубки, ранением оперативника и арестом преступника. Потом уже писалось зачем-то, что «старого» задержали еще у ворот и повели в милицию, а он попытался бежать уже из-под конвоя. Но за что его задержали? И почему повели в отделение, а не в институт, в который спешили? И почему не обыскали, и не отобрали оружие? Выстрел-то произошел уже на Басманной, и этого никто не отрицает.

Отталкиваясь от милицейской версии, современные авторы также утверждают, что Мичурин был взят сразу, в день ограбления. Может быть так и значится в материалах дела, и соответственно датированы протоколы. Но как тогда быть с записью, которую я видел собственными глазами. Что-то я с трудом себе представляю:

«Входят в лабораторию:

- Владимир Филиппович? Пройдемте, вы арестованы.

- Я готов! Только одну минуточку, у нас такой порядок, я должен записаться в журнал.

- Пожалуйста!

И он пишет, а оперативники спокойно ждут, не заподозрив никакого подвоха. Ну, пусть это не уловка отвлечь внимания и кинуться наутёк, то кто знает – может быть, сигнал еще неведомому сообщнику, а то и затаившемуся главарю? Словом, абсурд.»

Память мне может и изменить, но запись в журнале была датирована пятым апреля, то есть вторником. На первый взгляд невозможно поверить, что соучастник тяжкого преступления, зная, что его сообщники взяты, четыре дня сидел и выжидал.

Но воспоминания очевидцев говорят о том же. В столовой зашел злободневный разговор о преступниках и о том, что, наверное, взята не вся шайка. Уже стало известно, что одному задержанному грабителю пятьдесят лет, а другому двадцать. Мнение было единодушно: «старый» может и промолчит, а «молодой» выдаст несомненно. Мичурин не выдержал, встал из-за стола и унес на мойку тарелки с недоеденным обедом. Это было на него непохоже, он даже в мелочах был щепетильно скуп. По рассказу Рудова, в командировках никогда не участвовал в общих столах, а тем более застольях. Если же речь заходила о выпивке, брал для себя, что подешевле, послабее, но категорически без закуски, чтобы проще достичь того же эффекта.. Так на его взгляд было рациональнее и логичней.

Так вот, этот разговор в столовой мог, конечно, происходить и в день грабежа, но, скорее всего, помещения института освободили от сотрудников еще до обеда. А вот подробности о двух грабителях так быстро бы не просочились, тем более, что второй был взят где-то на улице (около 12 час). Скорее всего, подобный разговор мог происходить уже в понедельник.

Так почему? Я не раз задавал себе этот вопрос.

Как и всякий начинающий преступник, Мичурин, конечно же надеялся на безнаказанность. Будь иначе, он бы никогда не пошел на преступление. Более того, он твёрдо рассчитывал на самый благополучный вариант – то есть, милиция не найдет следов, и он по-прежнему будет работать в институте. Но заодно и пользоваться несправедливо добытыми деньгами.

К иному исходу злоумышленник просто не готовился ни умом, ни действием. Допустим, например, он считал более реальным, что его соучастники обязательно наделают шума, либо вообще попадутся и сразу назовут его фамилию.

В этом случае разумнее было бы не лезть самому в мышеловку, которая в любую секунду может захлопнуться. Иными словами, зная о намеченном времени нападения, заранее выбраться из МИХМа, и ждать выхода сообщников, например, на автобусной остановке, тут же у входа. Человек, будто бы ждущий автобус, никому не покажется подозрительным. В случае успешного ограбления он осторожно бы

присоединился к «молодому» и «старому», в случае провала – имел максимальные шансы вовремя незаметно скрыться.

А уж тем паче, если бы не сомневался, что даже в случае успешной поживы, рано или поздно до него всё равно доберутся. В этом варианте, он, тем более, должен был ждать на улице, а потом, уже с деньгами, сразу, незамедлительно - к вокзалу, и пуститься из Москвы на все четыре стороны.

Нет, по всему выходит, действовать таким образом – уходить с добычей на нелегальное положение – он не собирался категорически. Его устраивал только безупречно благополучный вариант. Или никакой.

Потому-то он и не спешил пуститься в бега с пустыми карманами. Зачем? Слишком многое приходилось бросать. И что бы это ему дало? Бесконечное бродяжничество? Жизнь загнанного зверя?

По всей видимости, он так и решил. Или невероятно повезет (тем более, он ведь сам-то ничего и не сделал, разве не так?), или уж пусть тюрьма. А когда дошло, что обречён, позволил себе последнее утешение – горечь Геростратовой славы. Хоть черную память, черными чернилами, но вписать. Поскольку ничего другого для себя он уже не видел, хоть и думал о своей участи непрерывно. Все четыре дня.

Забрали Мичурина на работе, без шума и протестов с его стороны. Даже для вида. Но запись михмовский Герострат, предчувствуя конец, несомненно сделал заранее.

Понять и ощутить, что толкает кого-то на преступление - неразрешимая задача. Тем более такое деяние, когда вне всякого сомнения, изначально планировалось хладнокровное убийство. Поскольку стреляющие трубки предназначались не для устрашения. Они совсем не походили на оружие, и вдобавок были обклеены газетой. Нет, сценарий ставился однозначный: вошел, убил, унёс деньги. Единственное – эту кровавую функцию Мичурин со «старым» не захотели выполнять сами. Их двоих для кассы было бы вполне достаточно, но всё-таки они искали третьего, хоть поиск и был сопряжен с риском. Искали оба, Мичурин тоже зондировал настрой людей на своей и соседних кафедрах. Но безуспешно.

Молодой глупец нашелся в другом месте. Не исключено, что ему была уготована участь кассирши Павловой, чтобы не делиться добычей и прикрыть след. Кто намечает убийство, не остановится перед вторым. А все многократные заходы на «объект», репетиции, опробование оружия на стройке (описанные у Раззакова) должны были лишь должным образом настроить «молодого», не дать ему осознать и почувствовать, что он обречен при любом исходе дела.

Такая античеловеческая программа, не сторяча, не по тупости, а по трезвому расчету обычным человеческим умом непостижима.

Отчасти можно лишь понять, какие настроения вообще обуревали Мичурина, которому, казалось бы, нечем было попенять на свою судьбу.

С одной стороны – бесперспективность. Тридцать лет, и что достигнуто? Готовить себя на смену «дедам»? А ведь вокруг – только оглянись. Каждый день мимо ходят настоящие баловни судьбы – преподаватели. Вот кому хорошо. Работают вдвое, а то и втрое меньше. Но получают – о-го-го! И ни у одного из них нет таких искусных рук. Ни один из них не сумеет так профессионально работать на станках. Что станки, фокусы на картах, и те показать не сумеют. Куда там!

Со слов Мичурина всем было известно, как ловко он подшутил однажды над вокзальной цыганкой, превзойдя ее в обмане на бумажках и монетах собственной ловкостью пальцев. А это чего-нибудь да стоит.

Плюс, на мысли о собственных неуспехах в жизни несомненно наложился и спад настроения, постепенно охватывающий страну. Ф.Раззаков начинает свое описание того кровавого михмовского события так:

«30 лет назад Москва считалась одним из самых спокойных городов мира (по данным ЮНЕСКО). Здесь не было ни наемных киллеров, ни проституток, ни организованных преступных группировок. И хотя преступления все-таки совершались, однако львиную их долю составляли правонарушения на бытовой почве. Тяжких преступлений по меркам мегаполиса было совсем немного: например, убийств в столице фиксировалось 300–350 в год (сегодня – 1200), из которых 85% приходилось все на ту же «бытовуху». Между тем в апреле 1977 года в Москве произошло дерзкое преступление, которое наделало много шума в городе.

Еще весной **1977 года** в Москве активизировались грабители...» а далее о кассе МИХМа с уже отмеченными сомнительными деталями, не говоря уже об откровенных ляпах (касса располагалась *на втором этаже*, перекрёсток с улицей *Энгельса* и т.п.).

Мы знаем, год 1975 стал вершиной политических успехов Л.И. Брежнева. Летом прошло совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоялся полет Союз-Аполлон. Политика Разрядки победила! И в 1976 поднялось безудержное славословие генсека, вышла «Малая Земля». Народ понемногу начинал злиться, тем более, что с кормежкой становилось всё хуже и хуже. И к 1977 году самые неустойчивые могли уже прийти к выводу, что на обещанную хорошую жизнь надеяться больше нечего.

На третий немаловажный фактор мало кто обращает внимание. Величину суммы, на которую покушались грабители. А ведь это был огромный куш. Если оценить количество работников института и величину их окладов, в кассе легко могло оказаться 300 – 400 тысяч разом. То есть от ста и до двухсот (если разделить на двоих) каждому. По советским меркам – сумма гигантская, такая, какие бывают только в кассах больших комбинатов за военизированной охраной и бетонными стенами. А тут – деревянная каморка под лестницей. Для отчаявшегося индивида – огромное искушение.

Что в те годы было мерой благополучия? Квартира – это несколько тысяч. Машина – и того меньше. Прочее вообще ерунда. Очень хорошим прибытком считалось подкалымить уже десятку, а заработать тысячу за лето – розовой мечтой. Тут же Мичурин имел возможность как бы получить свою вторую зарплату за 100-120 лет вперед. И сделать для этого требовалось всего один-единственный шаг.

Который оказался шагом в пропасть.